

В СВОДКАХ НЕ СООБЩАЛОСЬ...



РАЗВЕДКА

**УХОДИТ
В СУМЕРКИ**

ВИТАЛИЙ МЕЛЕНТЬЕВ

В сводках не сообщалось...

Виталий Мелентьев

Разведка уходит в сумерки

«ВЕЧЕ»

1964

Мелентьев В. Г.

Разведка уходит в сумерки / В. Г. Мелентьев — «ВЕЧЕ»,
1964 — (В сводках не сообщалось...)

ISBN 978-5-4484-8622-7

В повести известного советского писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916–1984) рассказывается о боевых делах отдельного взвода полковых разведчиков лейтенанта Андрианова в годы Великой Отечественной войны. Вся жизнь разведчиков полна неожиданностей и требует от них постоянной бдительности и настороженности во время проведения опаснейших операций в тылу врага. Автор – военный корреспондент – прекрасно знает своих героев, тепло рисует их взаимоотношения, воссоздавая атмосферу дружной фронтовой семьи.

ISBN 978-5-4484-8622-7

© Мелентьев В. Г., 1964

© ВЕЧЕ, 1964

Содержание

Глава первая. Фашист в тельняшке	6
Глава вторая. Чужой запах	14
Глава третья. Сашкины страдания	20
Глава четвертая. Брусничная вода	28
Глава пятая. Три часа поиска	33
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Виталий Мелентьев

Разведка уходит в сумерки

© Мелентьев В.Г., наследники, 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

Глава первая. Фашист в тельняшке

В комнате было тихо. Старинные часы-ходики с подвешенными на гири ржавыми гайками стояли. Они показывали без четверти два. Но разведчик Николай Прокофьев знал, что скоро уже утро. С той поры как ему скрутили руки, забили в рот пахнущий стерильной чистой и резиной индивидуальный пакет, прошло не менее трех-четырех часов. Значит, ходики стоят тоже часа три-четыре. Странно, что стрелки остановились примерно в то самое время, когда его брали в плен.

Совпадение или предзнаменование?

Прокофьев обреченно вздохнул – пожалуй, предзнаменование, но сейчас же подумал: «Ходики могли остановиться не ночью, а днем. Кстати, большинство ребят из взвода не очень верят приметам и необыкновенным совпадениям. В лучшем случае они соглашаются с тем, что в общем-то есть, конечно, что-то такое, чего сразу не поймешь. Но все равно, если на это обращать внимание, так лучше сидеть и не шевелиться».

Когда-то и он старался не обращать внимания на приметы. Но что сделаешь, если они сбываются.

...Вчера, в понедельник, едва он устроился на нарах у самого окна, пришло пополнение – два солдата и хмурый, поглядывающий исподлобья сержант. Ему и отдали постель у окна.

Неделя началась неудачно.

Когда Прокофьев перебирался на старое место, сосед по нарам, Андрей Святлов, отвернулся и пробурчал: «Переезжая сваха». Потом, когда они отдыхали перед поиском, в окошко заглянула ворона, склонила набок черную, отлакированную голову и противно заорала;

– Ка-ар-р!

Андрей перевернулся с бока на спину и выругался:

– Чертов Сашка, никогда не закапывает костей. Развел паразиток.

Никто не обратил внимания на ворону – только он и Андрей. Да, кажется, хмурый сержант. Никто не попал в передрагу – только он и Андрей. Не помогло и то, что Святлов определил правильно – вороны стали слетаться к лагерю потому, что повар Сашка Сиренко не закапывал отбросы, а просто выплескивал их за кухней. На помойке копались вороны, а по ночам приходили лисы и бездомные собаки.

Командир отдельного взвода пеших разведчиков лейтенант Андрианов – быстрый в движениях, маленький, с пышным рыжеватым чубом – не раз ругал невозмутимого Сашку за неаккуратность.

– Мало того что заразу разводите, так еще и демаскируете нас. Если у противника есть толковые наблюдатели, они сразу поймут, что такое скопление ворон на неприметном ранее месте – неслучайно. Значит, они станут присматриваться, увидят дым от вашего паровоза, – лейтенант кивнул на сооруженную еще летом печку с вмазанным котлом, – и поймут, что здесь стоит подразделение. Поймут и скажут: недисциплинированные дураки. Таких нужно учить. А в науку подбросят десятка три снарядов.

И так как Сашка не возражал, а только вздыхал и тер сальной волосатой рукой белый подбородок, Андрианов злился и, сдерживаясь, сердито спрашивал:

– Вам понятно, рядовой Сиренко?

– Та понятно... – махал рукой Сашка и переступал с ноги на ногу.

Молодой, с широкими, но по-женски опущенными плечами, с выпирающим животом и полными, тоже будто женскими, бедрами, Сашка неуклюже поворачивался, отходил к печке и долго стоял возле кастрюль. Помаргивая безресничными веками, он всматривался в глубину чахлого редколесья, и все – в том числе и лейтенант Андрианов – знали: Сашка переживает,

клянёт себя и теперь будет топить печь затемно. Но кухонные отбросы и объедки все равно закапывать не станет.

Он все понимал, этот молчаливый добрый хлопец, радист по специальности и повар по призванию, но ничего не мог поделать с собой. Он любил все живое и свято верил, что ничто из произведенного на свет не должно пропадать. Была б его воля, он бы на этих отбросах выкормил кабанчика, развел кур (Сашка говорил: курей) и, наверное, был бы не только счастлив, но и ненавидел бы и ворон, и лисиц, и бродячих собак, которых сейчас подкармливал...

Все это знали и молчали, а новенький сержант не смолчал. Он долго смотрел вслед вороне, потом буркнул:

– Над этим стоит подумать...

О чем он собирался думать, никто не знал, но показное глубокомыслие никому не понравилось, тем более, что кричала все-таки ворона, а не ворон. Но, с другой стороны, она ведь родственница вещему ворону, и мало ли о чем подумаешь, попав в такое положение...

И о втором совпадении вспомнил Прокофьев. Уже подле немецкой проволоки, когда саперы полезли проверять проход, из снарядной воронки выскочил заяц, верещава от страха – это было самым удивительным и необыкновенным: зайцы, как известно из литературы, верещат только ранеными, – помчался наперерез обеспечивающей группе, то есть Прокофьеву и Святову. По всём законам и правилам заяц не должен был бежать в их сторону. И вот почему.

Когда шла подготовка к поиску, Прокофьев, как и другие разведчики, долго наблюдал за вражеской огневой точкой, которую наметили как объект поиска и захвата «языка». На закате косые лучи неяркого осеннего солнца как бы углубляли тени, и тогда земляную насыпь дзота можно было видеть особенно отчетливо: ее тень явственно бугрилась на желто-зеленом взгорке. В остальное время вправо от дзота хорошо просматривались старые снарядные воронки, между которыми, как утверждали саперы, были противопехотные мины. Влево стояли мощные проволочные заграждения, за ними слегка заболоченная лощина.

Даже если предположить, что заяц случайно забежал на «ничейное» пространство между окопами воюющих, ему незачем было бежать на проволоку, а потом на болото – зайцы терпеть не могут мокряди. Но он, проклятый, побежал как раз туда. Выходит, заяц – тоже дурное предзнаменование.

А у них никто не поверил примете. Разведчики затаились минут на десять – пятнадцать. Однако в траншеях противника было спокойно. Возможно, даже слишком спокойно: ни разговоров, ни шума, ни обычного прочесывающего огня. Саперы двинулись было вперед, но тут ударили минометы, артиллерия и пулеметы. Об автоматчиках и говорить нечего: они бесновались как раз в той стороне, где были воронки и противопехотные мины. Поиск явно провалился, и из наших траншей подали сигнал отхода. И тут случилось непоправимое.

Мало того что разведчики были охвачены полукругом справа, а с тыла отрезаны отсечным огнем артиллерии и минометов, пулеметы ударили и слева, с той разнесчастной стороны, куда убежал верещававший заяц.

Тяжелые разрывные пули проносились с подвывом и легким шипением, как маленькие снарядики. Когда они рвались, врезаясь в тронутую морозцем землю, попадая в колья заграждений, или когда натыкались на брошенные в прошлых боях каски и какие-то непонятные теперь железки, они вспыхивали так, как вспыхивает в темноте папироса: багровой, недоброй звездочкой. Потом слышался звук разрыва – неверный, словно шепелявящий. Попадая в человека, такая пуля била насмерть.

Николай Прокофьев знал это и потому где впережат, где ящерицей двинулся к лощине. Неглубокая, по дну слегка заболоченная, она тянулась под углом к своим, теперь необыкновенно желанным траншеям, и хотя уводила далеко в сторону от исходных позиций поиска, все равно вела к спасению.

Как раз перед началом лошинки сзади явственно раздалась три слившихся воедино шепелявящих разрыва. Прокофьев обернулся и увидел несколько багровых вспышек. Андрей Святлов охнул и скорчился.

«Готов», – подумал Прокофьев и рванулся вперед, обдирая ладони и колени о жесткий бурьян, о примороженные рваные кочки, земляные комья.

Послышался стон и срывающийся, словно удивленный голос:

– Колька... Коля...

Прокофьев на мгновение остановился и оглянулся – Святлов был жив, но, видимо, ранен. Следовало помочь ему, и тут между ним и Святловым опять зажглись и померкли багровые, недобрые звездочки разрывов. Срывающийся звук разрывных пуль был так страшен, что Николай не нашел в себе сил развернуться и поползти к товарищу. Однако и удрать в лошину, а значит, скрыться от опасности, он тоже не мог: все, что было в нем сильного и честного, взбунтовалось и требовало возвращения. Мысли путались. Прокофьев поворачивался то в сторону Святлова, то в сторону лошины.

Вероятно, именно эти секунды, а может быть, и минуты колебаний оказались решающими.

Святлов перестал стонать и звать на помощь. Там, где он лежал, слышалась только прерывистая ругань и наконец ударил автомат. Прокофьев почувствовал облегчение, даже как будто обиделся на товарища.

«Не так уж он ранен, если может стрелять, – подумал он. – А на кой черт стрелять? Немцев привлекать?»

В то же время он радовался: Святлов ведет огонь, как бы прикрывая его отход, отвлекая на себя внимание противника.

«Сейчас устроюсь поудобней, – рассуждал Николай, – и прикрою Святлова: пускай выполняет. Раз стреляет, значит, силы у него имеются».

Но, уже скатившись в лошину, он все полз и полз, убеждая себя, что место для огневой позиции не совсем удобно, что вот еще несколько метров, и тогда будет в самый раз.

Убеждая себя, что не оставит товарища, Прокофьев, в сущности, уже знал, что Святлова он все равно бросит. Бросит потому, что в свой час, перед призывом в армию, воспитывавший его дядька поучал:

– Служить, конечно, надо. Но когда припрет, думай о себе. Главное – жизнь. Очень может быть, что и я не был бы живой, а вот выдюжил... Почему? А потому, что в Первую мировую войну вовремя сдался в плен... Не-ет, ты, Колька, погоди. Конечно, били. Конечно, кормили брюквой, как свиней. Все верно. Но вот – живой...

Тогда Прокофьев возмущался дядькой. Но потом, на фронте, когда под сердце подкатывал мохнатый комок страха, он вспоминал дядьку, его рассуждения и думал: «А черт с ним – лишь бы выжить...»

Когда опасность проходила, Николай забывал и дядьку, и собственную раздвоенность и старался казаться бравым солдатом. Теперь эта раздвоенность стала особенно сильной, и, шепча: «Черт с ним, абы выжить», он все полз и полз по лошине. Выбрать позицию он так и не успел: кто-то навалился ему на спину и, резко дернув, завел назад руку. Николай задохнулся от боли. В ту же секунду его перевернули и в живот уперлось чье-то железное колено, а в рот вломились пахнущие землей, табаком и еще чем-то неизъяснимо противным и тоже земным три грубых пальца.

То ли от неприятного запаха, то ли от того, что пальцы были засунуты слишком глубоко, Прокофьева сломил отчаянный приступ рвоты. Он обмяк и позволил скрутить себе руки, забить в рот кляп. Потом его подняли за шиворот, поставили на ноги, подтолкнули вперед. И он пошел.

В темноте он не видел, кто его взял. Лишь по запаху дешевого нерусского одеколона, рома и табака, а не махорки понял: взяли немцы.

Сзади, где еще бил святковский автомат, раздались взрывы гранат. Автомат залился длинной очередью, захлебнулся, дал новую коротенькую – и смолк.

«Прикончили...» – подумал Николай, и ему стало холодно.

Захотелось тепла, света, и он прибавил было шаг. Но сейчас же остановился: понял, что поспешил к собственной смерти. Приступ тошноты опять обессилил его... Не хватало воздуха, во рту было невыносимо противно, слюна заливала горло. Но она же очищала рот, и уже за траншеями, отдышавшись, он ощущал только запах резины стерильного индивидуального пакета.

Было это, по его расчетам, около двух часов ночи. Как раз в это время и остановились ходики, словно знали, что в эти минуты кончилась жизнь разведчика Николая Прокофьева.

Прокофьев посмотрел на молчаливые часы и понял, что живым ему не быть. Но и умрет он не сразу. Немцы сначала помучат его как следует, выпытают военные сведения, а потом пристрелят.

Он опять подумал: «Черт с ним, абы выжить» – и поежился. Ломило возле ушей, наверное, растянулись связки: кляп был слишком велик. Ныли вывернутая рука и перевязанные его же собственным ремнем кисти. Николай пошевелился, вздохнул и поморщился. В избе пахло тем, чем пахли все немецкие постой, – грязью, дешевой парфюмерией и еще чем-то неизъяснимо противным. Это напомнило грубые пальцы во рту, путь в избу, и он с ненавистью посмотрел на часы. Остановившиеся ходики в безмолвном доме были просто нетерпимы, и Николай поднялся, чтобы зубами подтянуть цепочку с гирькой и ржавыми гайками на конце, головой качнуть маятник. Часы должны идти. Они обязаны отсчитывать отведенные ему минуты.

И в тот момент, когда он подошел к часам, за окном надрывно и противно прокричала ворона:

– Ка-ар-р!

Прокофьев резко повернулся и, наклонившись вперед, посмотрел на плащ-палатку, которая закрывала окно. На лбу выступила испарина, глаза широко открылись. Он знал, что ночью ворона кричать не могла. Ночью вороны спят. А она кричала. Под окном. В тот момент, когда он хотел пустить часы. Ему захотелось закричать. И в то же время он мечтал забиться в темный уголок, сжаться и замолкнуть, чтобы никто его не заметил, никто не тронул.

Прошло несколько секунд, может быть, минут, но и в избе и за окнами было тихо. Даже перестрелки не было. Глухая осенняя ночь, первый морозец и – тишина.

Когда Николай все-таки убедил себя, что ночью ворона кричать не могла и к тому же она – не вещий ворон, она заорала вновь – уже не возле окна, а издали, как бы с земли. И заорала не устрашающе, веще, как прежде, а словно торжествующе. В ее картавом, как немецкая речь, крике слышалась еще и насмешка над неудачником.

Эти совершенно неожиданные, не вороньи нотки не только не насторожили Николая, не только не заставили посмотреть на события и окружающее по-новому, открытым взглядом и докопаться до сути вещей, а, наоборот, окончательно сломили его. Он плюхнулся на лавку и опустил голову. От сознания полной безнадежности он, наверное, зарыдал бы, но тут хорошо смазанная в петлях дверь в избу открылась, и через порог переступил зеркально начищенный, с белой прострочкой по ранту, великолепный хромовый сапог с утиным носком. Не поднимая головы, Прокофьев определил: русский сапог. Таких сапог немцы не носят.

И сразу, вопреки здравому смыслу, Николаю до сладкой слабости поверилось, что все то, что с ним произошло, – просто розыгрыш, глупый сон, недоразумение, какая-то сверхответственная проверка перед сверхсекретным заданием. Не поднимая головы, замирая от предчувствия спасения, он слегка подался вперед, а потом уже поднял голову.

Почти одновременно с ним поднял голову и вошедший в избу немецкий офицер. Он встретился взглядом с разведчиком и улыбнулся. Его слегка курносое, округлое, показавшееся совсем русским лицо было добродушно и лукаво. Прокофьев тоже улыбнулся – растроганно и одновременно испуганно, потом вскочил и выпрямился – так старательно, что даже покачнулся! – ему хотелось вытянуть по швам связанные руки.

Офицер шагнул вперед, точно желая помочь Прокофьеву, и на его округлом лице мелькнуло что-то вроде испуга. Но это выражение тотчас сменилось все той же располагающей улыбкой – лукавой и доброжелательной. Он покачал головой и, не оборачиваясь, сдержанно приказал кому-то войти. Может быть, потому, что приказывал он на немецком языке, лицо у него заострилось, стало властным и жестоким.

И пока из-за его спины выходил часовой, который принял в свое время Прокофьева и толкнул в эту избу, пока он развязывал ремень на кистях Николая, выражение лица офицера не менялось – было строгим, замкнутым и жестоким. Когда солдат кончил свою работу и вытянулся, держа ремень в руках, офицер, не глядя на него, подал новую команду, и солдат, старательно топая большими подкованными сапогами с гладкими буро-желтыми голенищами, двинулся к двери. Потом вспомнил, что у него в руках ремень, и торопливо сунул его на недавно побеленный шесток.

Наблюдая за часовым, Прокофьев сразу понял, что русская печка давно не топилась, в избе прохладно, но противный запах чужеземного постоя не выветрился, а стал как бы резче, острее.

Когда солдат вышел и старательно прикрыл за собой дверь, офицер посмотрел ему вслед, доверительно улыбнулся и прошелся по комнате. Было в его походке что-то мягкое, успокаивающее, и Прокофьев шумно вздохнул: он все еще надеялся на чудо.

Стоя спиной к пленному, офицер снял свой блестящий, будто лакированный плащ, привычным движением повесил его на гвоздь неподалеку от часов, удивленно и вроде даже испуганно присвистнул и, резко потянув за цепочку, качнул маятник. Часы деловито затикали, страшная изба стала милой и домашней. В ней вдруг запахло свежевывмытыми, некрашеными полами, какими-то травами и хорошими духами. Прокофьев почти с умилением отметил: «Шипр. Мой любимый одеколон». Офицер снял фуражку, повесил ее над плащом и обеими руками, по-мужицки, пригладил слегка напояженные темно-русые волосы.

– Били? – спросил он по-русски, неторопливо оборачиваясь и сразу безошибочно найдя доброжелательным напряженный взгляд разведчика. Похоже, что офицер знал, куда посмотрит Прокофьев.

– Нет, – невнятно ответил Прокофьев.

– Повезло, – серьезно сказал офицер. – Бьют у нас здорово. Вероятно, слышали?

– Да.

– К сожалению, это не выдумки, – вздохнул офицер. – И массовое уничтожение военнопленных и... прочих – тоже не бред. Это политика. И должен вам сказать, что проводится она со знаменитой немецкой пунктуальностью... точностью.

Офицер говорил по-русски без малейшего акцента, без всякого напряжения. Может быть, только буква «р» была чуть раскатистой, картавей, чем у настоящего русака. Но раздумчивая грустинка в голосе, свободные манеры скрадывали это впечатление. Правда, настораживал иногда чересчур острый, испытующий взгляд твердых темных глаз, но что поделаешь... У офицеров он всегда тверд и испытующ. Такая профессия. К тому же обстоятельства...

И пока Прокофьев думал об этом, пока мысленно прикидывал, как себя вести, офицер вынул из кармана портсигар и, шелкнув, протянул его Прокофьеву:

– Курите, Коля...

На мгновение мечта о чуде, о совершенно невероятном чуде опять обожгла Прокофьева: ведь вот откуда-то он знает, как его зовут. А ведь его никто не допрашивал, и документов в поиск не берут...

Наверное, удивление и тревога проступили на его лице, потому что офицер рассмеялся: – Думаете, мистика? Нет, просто мне все рассказал Андрей. Даже про зайца!

Опять поймав изменение прокофьевского лица, его почти мальчишеское смущение и в то же время растерянность, посерьезнел, сделал паузу, как раз такую, чтобы пленный мог оценить всю тяжесть своего падения, чтобы он мог вспомнить и зайца, и свое колебание возле лошины, и сдавленный шепот Андрея Святова: «Колька... Коля...»

Мальчишеское смущение исчезло – на лице Прокофьева был страх, боязнь ответственности за трусость и предательство. И, понимая, что он может погибнуть уже по-новому, погибнуть тогда, когда чудо почти свершилось – офицер был чересчур странным для немца, – пленный потупился.

Офицер сделал вид, что он ничего не заметил, и сказал очень серьезно, с задушевными нотками в голосе:

– Этого не стыдятся. И зайца и все другие приметы можно называть мистикой. Можно – предрассудками. Как кому нравится. Но все равно в этом что-то есть. Что-то от древности, от наших очень далеких предков – древлян или меря. Лесных и, вероятно, очень мудрых людей. – Затем доверительно, задумчиво добавил: – Не знаю, как вы, а я лично верю в приметы.

Он помолчал, ожидая, что Прокофьев поднимет глаза. Но тот, словно от боли, слегка покачивался, и офицер, едва заметно усмехаясь, продолжил:

– Да вот не далее как несколько минут назад, когда я шел сюда, вдруг закричала ворона. Вначале я подумал, что ослышался, ведь ночью они не кричат. Так нет, проклятая, второй раз заорала. И как раз над этой избой. Честное слово, мне стало жутко.

Теперь Прокофьев смотрел в его острые, уже не испытующие, а действительно слегка испуганные глаза.

Николай слышал, как все сильней и сильней стучит сердце, ощущал, как сохнут губы, гортань, как шершавится язык. Ему до отчаяния захотелось до ветру, и он еле сдержался, чтобы не запроситься.

Офицер с грустью добавил:

– И я подумал, что приметы в самом деле есть. Вот сидит в этой избе парень – красивый, крепкий, – может быть, думает о невесте или о матери. А «черный ворон песню спел ему». И будет ему каюк. – И вдруг ненужно, как иностранцу, пояснил: – Это значит конец.

Прокофьев молчал. Слишком страшным, иезуитски страшным было все, что с ним происходило. Ну, виноват. Во всем виноват. Виноват, что русский, что солдат, да еще разведчик. Раз таких расстреливают – стреляйте! Но не мучьте, не бередите душу! А виноват в том, что трусился, попал в плен, бросил в тяжелую минуту товарища, – тоже стреляйте. Но тоже сразу. Не мучьте! Не выворачивайте душу наизнанку!

Душа у Прокофьева кричала, все в нем противилось «вороньей песне» и этой игре с ним, но он молчал... Молчал и даже не пытался бороться за свою судьбу, потому что где-то, очень глубоко, в нем отзывалось тиканье маятника. Об этой примете офицер не упоминал, но она говорила, что жизнь прожита и возвращаться теперь некуда. Если офицер советский, он не простит ему Святова. Если он враг, не простит того, что он советский солдат.

Постепенно мысли в нем угасали. Он слышал стук маятника и все смотрел и смотрел на его торопливое, захлебывающееся движение.

– И я подумал, – донеслось до Прокофьева, – что этого парня нужно спасти. Умереть никогда не поздно. Воронья много, и оно еще накричит смерть и тебе и мне.

Офицер подошел к Прокофьеву вплотную, огляделся по сторонам и заговорщически спросил:

– Хочешь спастись? Но решать нужно быстро – времени у нас мало. Скоро придет начальство, тебя поведут на допрос, и я уже ничего не смогу сделать. Решай быстрее. Сразу! – яростно шептал офицер и слегка подергивал Прокофьева за все еще ноющую руку.

– Ясно... но...

– Ты слушай, – не давая опомниться, шептал офицер, часто оглядываясь то на дверь, то на окна. – Думаешь, мне здесь легко? Думаешь, все так просто? А вот борюсь. За себя борюсь и своих не забываю. А у тебя тоже есть возможность и самому спастись, и Андрея спасти. Понял? – И, перехватив недоуменный взгляд Николая, торопливо пояснил: – Он – все. Допрошен. Теперь его пустят в расход. А если бы ты согласился – его могли бы оставить. И даже вылечили бы.

– Его... взяли? – падая духом, спросил Николай.

Он испытывал уже нечто большее, чем стыд. Пожалуй, полное презрение к самому себе. Оно было так велико, что искупить его можно было только чем-то большим, чем собственные муки или смерть. Это презрение к самому себе окончательно подкосило Прокофьева, а офицер, точно растравляя это страшное чувство, сказал просто, как о само собой разумеющемся:

– Конечно. Ты ж его бросил. Так вот теперь ты можешь его спасти от верной смерти. Понимаешь? И я тебе ничего плохого не желаю. Смотри сам.

Он отошел к столу, решительно расстегнул мундир и вынул из внутреннего кармана какую-то бумажку. Бумажка как будто зацепилась за борт, офицер словно бы ненароком отвел его подальше, и Прокофьев увидел под обыкновенным мундиром немецкого офицера синие и белые полоски тельняшки.

Николай даже вздрогнул. Как всякий мальчишка, в детстве он мечтал быть капитаном, а когда подрос и готовился к призыву, собирался на флот. Офицер, перехватив его взгляд, с великолепной, грубоватой застенчивостью застегнул мундир и буркнул:

– Будем считать, что этого ты не видел. – И, помедлив, со вздохом добавил, горячо и страстно, даже излишне страстно: – Умирать буду, а не сниму.

Ища хоть какое-то оправдание своему предательству, оправдание и поддержку своей слабости, Прокофьев согласно кивнул и подумал: «Кто знает, что тут... Мало ли чего не бывает... мало ли чего. А вдруг...»

Что именно должно произойти «вдруг» – он не знал, но это «вдруг» должно было принести жизнь.

Пока офицер заполнял графы бумаги – кто, откуда, год рождения, номер части и фамилии командиров, что уже само по себе являлось разглашением военной тайны, – Прокофьев отвечал почти механически, а думал о необыкновенном офицере, об окружающей его тайне и о том, что, может быть, дурные приметы и не сбудутся. Ведь не все же приметы должны сбываться. «А черт с ними. Абы выжить...»

И чем дольше он думал, чем точнее отвечал на вопросы офицера – быстрые, ловко поставленные, – тем удивительней были перемены в его мыслях. По совершенно непонятной логике труса и себялюбца он не только оправдывал свое предательство, но и чувствовал себя как бы героем, великодушно жертвующим собой ради спасения товарища от неминуемой гибели, участником какой-то большой игры.

И тем не менее в глубине его сознания билась одна мелкая мыслишка: только бы пронесло, а там... там...

И офицер, видимо, хорошо знавший трусливые души и молчавший, пока Прокофьев, не глядя, подписывал обязательство работать на врага, вдруг резко сказал:

– Завтра ночью ты вернешься... во взвод. Тебе отдадут оружие – твое и Андрея. Легенду возвращения продумаешь сам и доложишь мне. Работа будет предельно простая: составляя отчетные карточки наблюдения, будешь делать копии. На копиях внизу картофельным соком или соком березы нанесешь все, что заметишь в полосе своего полка. Все это ориентировать и

привязывать к сектору наблюдения отчетной карточки. Попятно? Вверху – обычная карточка, внизу – ее продолжение. Службу во взводе нести хорошо и в поиски ходить. В каждом поиске оставлять карточки на видном месте, по возможности в траншеях. Ни с кем не связываться. Никому не давать задания. Твой номер отныне сорок пять. Это значит, в полосе, где я работаю, есть еще сорок четыре моих человека. Некоторые из них работают рядом с тобой. У них другое задание. Кстати, вы потому попались, что сообщил наш человек. Имей в виду, ты постоянно будешь под моим наблюдением. Если изменишь, по радио выступит Андрей Святов и расскажет о твоём предательстве. Потом его ликвидируют. Значит, на тебе не только твоя жизнь, но и жизнь Святова. Можешь не волноваться – никто никогда о тебе не узнает.

Он не дал Прокофьеву опомниться, приоткрыл дверь и крикнул по-немецки:

– Ефрейтор! Пленного накормить, дать рому. Потом обеспечить отдых.

Надев свой блестящий плащ, офицер посмотрел на часы, доброжелательно улыбнулся:

– Будем надеяться, что они больше не остановятся. Ну, ни пуха ни пера, как говорится. Чуть было не попросил тебя передать привет одному знакомому, сказать ему, что сил моих больше нет, но нужно уметь держать себя. Такова, брат, жизнь. Будь здоров, Коля! Держись.

И он ушел, так и непонятый до конца. После него остался только легкий запах шипра, ощущение тайны и все крепнущая надежда на освобождение.

Глава вторая. Чужой запах

То, чего больше всего боялся Прокофьев – заделанных проходов в минных полях, – удалось избежать. И поэтому при первой встрече с советскими офицерами у него не столько спрашивали о том, где он пропадал целые сутки, сколько удивлялись, как он мог проползти между минами. Ведь если прополз Прокофьев – могли проползти и немцы.

Поэтому пока Прокофьев шел к своему взводу, по проводам и через связных на этот участок передовой шла тревога. Кто-то ругался, кто-то оправдывался, а солдаты, чертыхаясь, собирали оружие и, переваливаясь через брустверы, ползли в промозглую сырость ночи. Одни – прикрывать товарищей, другие – ставить мины на тропинку, по которой прополз Прокофьев. И хотя все эти люди подвергали себя смертельной опасности, мокли и мерзли – никто не ругал разведчика. Слаженный солдатский телефон уже передал его историю: прикрывая раненого товарища, он вел бой с противником, который пытался отрезать разведчиков слева. (Работу вражеских крупнокалиберных пулеметов, очереди сватовского автомата и взрывы его гранат видели все, поэтому эта часть прокофьевской истории не вызвала ни малейшего подозрения.)

Когда товарищ был убит, он взял его автомат и двинулся в ложину. Здесь наткнулся на ползущих в тыл всей поисковой группе немцев и вынужден был повернуть в сторону. (И эта часть рассказа не вызвала возражений. Нашлись такие, которые слышали глухой шум в устье ложины, а некоторые даже видели смутные тени, которые проскользнули к вражеским траншеям.)

Он пытался соединиться с основной группой разведчиков, но она к этому времени уже прорвалась сквозь заградительный огонь и ушла к своим. Прокофьев наткнулся только на труп младшего сержанта Ахмадуллина. Оружия возле сержанта уже не было – возможно, его прихватили разведчики. И потому, что он замешкался возле Ахмадуллина, его чуть не отрезали немцы; к счастью, удалось спрятаться в воронке. Когда немцы ушли, утащив с собой труп младшего сержанта, начался рассвет. Пришлось ждать вечера. (И эта часть прокофьевских злоключений была принята безоговорочно, хотя, собственно, оговорки могли бы быть.) Дело в том, что Ахмадуллин был убит, по-видимому, гораздо ближе к немецким позициям, чем утверждал Прокофьев, видевший труп младшего сержанта только в немецких траншеях. Могло показаться странным также и то, что тех немцев, которые чуть не отрезали Прокофьева, никто не видел. Но ведь противник есть противник, и в его задачу не входило заявлять о своем присутствии каждому досужему наблюдателю. Не заметили – значит, плохо наблюдали.

Эти и другие неясности были с лихвой перекрыты главным – сочувственным отношением к разведчику, который целые сутки пробыл между двух огней и вернулся домой невредимым. Он жаловался только на боль в плече, говорил, что ударился, когда скатывался в воронку.

Несмотря на явный ореол героя, который все разрастался вокруг Прокофьева, пока он продвигался к взводной землянке, товарищи встретили его сдержанно. В них еще не перегорела горечь неудачного боя, еще не все понимали, почему пришла эта неудача.

Обрадовался Прокофьеву только Сиренко. По-бабьи склоняя голову набок и хлопая руками по жирным бедрам, он пошарил в дальних углах своей каптерки, разыскал великолепные аргентинские сосиски, которые ценились в два раза дороже американских и сравнивались, пожалуй, только с русскими, поджарил картошки со шпиготом и, доверительно подмаргивая, вытащил заветную фляжку. Все знали, что у Сиренко всегда есть водка. Уже хотя бы потому, что сам он не пил, а норма ему полагалась, как и всякому иному разведчику. Но не было еще случая, чтобы кто-нибудь выклянчил у него хотя бы сто граммов. Сиренко был неумолим: он ненавидел пьянство. А тут вдруг расщедрился.

Сиренко притащил угощение прямо в землянку, поставил сковородку на столик под окном, а сам пристроился в уголке, умиленно приглядываясь к Прокофьеву и по поварской своей привычке принюхиваясь к окружающим запахам.

Прокофьеву не хотелось есть с голоду, а скорее от нервного напряжения он наелся в зло-счастной избе и теперь досадовал, что Сиренко торчит перед глазами и, значит, нужно разыгрывать зверский аппетит. И он довольно натурально обрадовался еде, выпил и стал есть.

По мере того как картошка на сковородке остывала, а жаркие, щекочущие запахи опадали, безгрешные, восторженные глаза Сиренко меркли, в них пробивалась тревога. Когда Прокофьев, отдуваясь, отставил от себя почти пустую баночку с аргентинскими сосисками, Сиренко поморщился и разочарованно сказал!

– Пахнет от тебя...

Почти убежденный в том, что все сошло хорошо, Прокофьев по старой памяти решил добродушно подшутить над поваром. Дурашливо пугаясь, он спросил:

– Неужели дерьмом?

– Нет. Хуже, – печально сказал Сиренко, вздохнул и стал торопливо собирать посуду.

Прокофьев подозрительно покосился на повара, сердце у него екнуло, но он сдержался, нашел в себе силы очень натурально потянуться и сказать:

– Теперь бы покемарить минуточек шестьсот.

Когда он опустил руки, оказалось, что рядом сидит новенький сержант. Как и когда он проскользнул в землянку, Прокофьев не заметил. Сержант смотрел на него глубокоседающими, узкими светлыми глазами – твердыми и острыми.

– После такой передряги и этого маловато, ага? – И уже совсем мягко добавил: – Может, на старое местечко ляжешь? – Сержант кивком показал на окно.

Звякнула посуда, послышался тяжкий вздох Сиренко. Сержант доброжелательно улыбнулся. Николай насторожился: он уже знал цену подобной улыбке.

Нет, новенький сержант ему не нравился. Худощавый, чуть выше среднего роста, скуластый. Скулы особенно заметны потому, что лицо у него продолговатое, чистое и не то что загорелое или смуглое, а скорее темное, словно под кожей ходила особенно густая, тягучая кровь.

Разведчик промолчал, и сержант отвернулся.

Он знал, что в новой части, в новом взводе нечего ждать распростертых объятий. Нужно делом показать, на что ты способен как разведчик, как человек и как товарищ. И он был готов к этому. Однако все попытки наладить контакт с новыми сослуживцами пока не давали результата: он явно не нравился. Сержант чувствовал это и даже понимал, почему это произошло.

Когда взвод уходит в бой, а ты остаешься только потому, что новенький, – это невольно отгораживает тебя от товарищей, как бы переводит во второй сорт. Больше того, когда бой окончился неудачно и на тронутый морозцем земле оборвались чьи-то жизни, а ты в это время сидел в землянке под надежными накатами, – ожидать, что за это тебя полюбят, смешно.

Неудача как бы отдалила сослуживцев от сержанта, словно он непонятным образом был тоже виноват в неудачах и смертях. И сержант, понимая это, прощал и холодность приема, и обидную снисходительность, а то и прямую неприязнь. В чем-то люди правы, как в чем-то нрав и Прокофьев – ведь именно он больше всех пострадал от неожиданного вторжения сержанта: вынужден был уступить ему облюбованное место на нарах.

Сейчас сержант хотел помочь Прокофьеву не столько вернуться на это место, сколько уйти с того, рядом с которым спал когда-то Святов. Сержант знал: ничто так не действует на нервы после боя, как пустое место рядом с тобой. Но помощь не приняли. И это было неприятно.

Сержант посмотрел на устраивающегося на нарах Прокофьева, едва заметно вздохнул и подумал: «А все-таки он здорово держится – без истерики, без нытья».

Прокофьев улегся поудобней и затаил дыхание, а потом осторожно втянул воздух. Его стеганка, маскировочная куртка пахли тем чужеродно-неприятным, чем пахнут немецкие блиндажи, постои и землянки, – смесью нечистого тела, дешевой парфюмерии, надушенного табака и нестираных шерстяных носков. Запах этот въелся в его одежду и, вероятно, в волосы. Слабый и в то же время острый, потому что ночной морозец словно отточил его, он теперь пробивался как бы изнутри самого Прокофьева и был очень опасен. Сиренко его учуял, и как он поведет себя в будущем, предположить нельзя.

На мгновение Прокофьеву стало нестерпимо страшно. Он вскочил и сел на нарах. Тотчас поймав на себе все тот же острый, исподлобья взгляд сержанта, он подумал: «А что, если этот новенький – один из тех, кто должен следить за мной?»

И ему опять стало страшно. Новый страх как бы выбил старый, и, овладев собой, Прокофьев сбросил маскировочную куртку и вышел из землянки. Расстегнув стеганку, сняв ушанку, он пошел навстречу ветру и долго бродил по утреннему лесу, набирая в пазуху терпкий, ни с чем не сравнимый запах осин, гнивающих листьев и лесных трав.

Новенький сержант сидел у окна и думал. Он не видел, куда ушел Прокофьев, но уже не считал, что он молодец, – истерика, по его мнению, все-таки получилась. И хорошо хоть то, что Прокофьев не вынес ее на люди. Это значило, что воля у него есть. И в то же время сержант пришел к совершенно неожиданному выводу? «Все-таки есть в нем что-то странное... Двойное».

Но что именно и в чем оно выражается – сержант не знал. Он просто почувствовал это.

Это ощущение окрепло днем, когда все разведчики отдохнули, а командир взвода, злой и расстроенный, вернулся от начальства и буркнул:

– Будем проводить разбор.

В словах лейтенанта не было ничего пугающего. После каждого поиска или разведки боем обязательно проходил разбор действий. И по заведенному порядку, ставшему уже традицией, на разборе докладывал каждый участник операции.

Прокофьев был почти спокоен: он знал, что их кто-то предал. Это предательство казалось ему постыдным и ненавистным, хотя он не мог возмущаться и ненавидеть подлеца. Ведь он тоже был предателем и, значит, должен был ненавидеть и презирать себя. А он слишком любил себя и потому в душе посмеивался над бывшими товарищами, в душе же стоя на стороне немецкого хитрого и пронырливого офицера. От этого своя вина стушевывалась. Выходило, что не один он такой дурак – дураки все, потому что всех обманули – и одних пустили в расход, других, побитых, свели в одну кучу, и они не знают, как оправдаться и на кого свалить вину. И тут получалось, что хотя он тоже дурак, да все-таки умнее других, потому что не только спасся от верной смерти, а еще и овладел чужими тайнами: он не забыл странное, двойственное поведение немца в тельняшке.

Наверное, какая-то из этих мыслей проступила на его округлом, со светлыми глазами лице, потому что новенький сержант исподлобья («По-волчьи», – сердито подумал Прокофьев) поглядывал на него, и его темное продолговатое лицо становилось замкнутым и жестоким.

Прокофьев решил, что нужно быть осторожней, – новенький сержант все больше не нравился ему.

Рассказывая легенду своего возвращения, Прокофьев смотрел на сержанта, словно желал ему сказать: «Ну что? Взял?» Но когда он закончил, новенький невозмутимо спросил:

– А когда заверещал заяц?

Никто до этого не вспоминал о зайце, хотя ведь именно из-за него случилась остановка, после которой и начался разгром. И когда о нем спросил не участвовавший в поиске сержант, это показалось обидным: в самом тоне вопроса почудился нехороший намек, – и разведчики зашумели. Но сержант настойчиво повторил вопрос. По установившейся традиции на

любой, пусть даже кажущийся нелепым вопрос следовало отвечать правдиво и точно. И Прокофьев коротко, с выражением снисходительности и некоторой оскорбленности на круглом лице повторил свой рассказ.

Сержант уточнил:

– Заяц выскочил и побежал вам наперерез. Выходит, слева от вас никого в тот момент не было, ага? Ведь он не побежал вправо от вас, на минное поле – он, видно, уже знал, что там сидят немцы, а побежал влево. С кем же вы потом вели бой? Когда он начался? Откуда появились немцы, ага?

Эти вопросы как-то по-новому осветили весь неудачный поиск, и все, в том числе и нервничавший лейтенант, поняли, что их ошибка была и в том, что они не обратили внимания на этого невольного ушастого часового, который с испугу предупредил их об опасности. Вместе с тем разведчики по-иному взглянули на Прокофьева, точно заново проверяя в уме все, что он рассказывал о своем пребывании на «ничейной» полосе.

И Прокофьев, сердясь и в то же время испытывая мгновенные приступы ужаса, старательно повторил свою легенду возвращения. Он ничего не забыл, ничего не изменил, потому что вызубрил ее накрепко. Когда окончил пересказ, то по взглядам людей, по их мгновенно расслабившимся мускулам понял – поверили: ведь он не путался и не сдвигал фактов. Все было стройно, правдиво и точно так, как было рассказано и в первый и во второй раз. Усмехнулся только один человек – новенький сержант. Но ни Прокофьев, ни разведчики не знали, почему он посмеивался.

«Брешет в чем-то, – решил сержант. – В бою никогда всего не запомнишь. Сколько ни рассказывай про бой, а все равно будешь вспоминать все новое и новое, иногда даже более важное, чем в первый раз. А у этого все как по-писаному. Или струсил, а теперь боится признаться и потому выдумал легенду, или...»

Додумать не успел: вмешался лейтенант Андрианов:

– Зайца мы прозевали. А пойми своевременно этот факт – можно было бы кое-что принять.

И это признание правоты новенького как-то примирило с ним остальных, настроило всех на раздумчивый и даже несколько покаянный лад. Стали вспоминать мелкие и мельчайшие детали поиска и подготовки к нему, и тут опять вмешался новенький:

– У противника снайперы действуют?

Сдержанно посмеялись, вспоминая минувшие неприятности, доставленные вражескими снайперами.

– Мне говорили, что только одна эта огневая точка перед вечером отбрасывает тень, – задумчиво продолжал новенький. – Я прикинул – нашим наблюдателям солнце в это время слепило глаза, а их головы, значит, отбрасывали тень. Тогда как же они наблюдали? И как же их не сняли снайперы?

Разведчики молчали. Еще не веря догадкам, но связывая обрывки собственных, когда-то считавшихся неважными, наблюдений, случайных картин и совпадений, люди с тревогой смотрели на темного сержанта и думали:

«Неужели эта огневая точка была провокацией? Неужели немцы перехитрили нас? И неужели мы клюнули на эту приманку?»

Обманутыми быть не хотелось, и люди старались найти оправдание своим прошлым действиям и ошибкам. Самым первым оправданием было – откуда немцы могли узнать время поиска? Ведь не зная его, они не могли в срок организовать засаду. А знать его они не могли. Если только у них нет осведомителей... Но это казалось невозможным, и потому все вопросы сержанта и внутренние ответы на них повисали в воздухе. И тут сержант нанес последний удар:

– Известно, что на операцию взвод выходил засветло, после обеда. Команду подавали возле землянок, ага?

– Конечно! – удивленно и слегка обиженно воскликнул Андрианов.

– А наш уважаемый радист помои уже выплеснул?

Все обернулись и посмотрели на прикорнувшего у дверей безучастного и все-таки скорбного Сиренко, который не сразу понял, что речь идет о нем. Ведь о том, что он радист, обычно никто не вспоминал, а вот о поваре Сиренко говорили часто. Сиренко растерянно улыбнулся доброй и милой улыбкой. Но люди смотрели на него испытующе, и во взглядах, в самой тишине чувствовалось осуждение. Андрианов отрывисто, глядя на Сиренко, спросил у сержанта:

– Почему вам это важно?

– Потому что после команды взлетают вороны.

И тут, словно при озарении, сразу вспомнилось, как после лейтенантской команды и первого дружного строевого шага, гулко раскатившегося по примерзшей траве, с гортанным, сумасшедшим криком взвилась стая ворон. Вспомнился даже парок, струившийся над неостывшими помоями. И теперь каждый, и, кажется, сам Сиренко, понял, что вороны дали знать противнику о том, что взвод вышел на задание.

Цепь замкнулась. Картина стала безжалостно ясной и понятной.

И вот они сидят, молчаливые, слегка растерянные, заплатившие за свои мелкие и мельчайшие ошибки самой страшной цепой – кровью, жизнью товарищей и, что особенно страшно, верой в свои силы, в возможность победы над врагом.

Враг вырисовывался перед ними как поистине мудрый и дьявольски хитрый, представленный не всей разветвленной системой наблюдателей и разведчиков, а как некий единый, хотя и несколько расплывчатый человек, многоликий и в то же время совершенно конкретный, которого все согласно называли «он». Новенький сержант догадался, о чем думают люди, и озабоченно протянул:

– Серьезный у нас противничек. Очень серьезный.

И то, что он сказал «противничек», словно бы сняло внезапное оцепенение запоздалых раскаяний и переоценок ценностей. Все как по команде взглянули на его хмурое, темное лицо и заговорили сердито, еще слегка растерянно, все яростней и яростней нападая на безмолвного и на все согласного Сиренко. Он еще не все уяснил, потому что по привычке думал о своем – боевые дела взвода до сих пор обходили его стороной: в жесткой обороне ему как радисту делать было нечего. Но он понял, что тоже виноват и, как теперь оказывается, даже больше других, и заранее был готов принять любое наказание.

– Хватит! – остановил разведчиков лейтенант Андрианов. – Тут и моя вина. Я видел, что проклятые вороны могут демаскировать, если... – Он поднялся с нар и обвел взглядом разведчиков. – Если перед нами умный противник. Но я думал – он глупый. И все мы, хотели того или не хотели, считали его глупым. Ведь мы видели и наши тени, и снайперов, которые вдруг стали мазать, и неожиданно появившуюся, удобную для поиска, плохо замаскированную огневую точку. Видели и думали: странно все это, но это потому, что противник дурак, а мы – умные. А он оказался умнее нас. И хитрее. И страшнее. И хорошо, что сержант... – Андрианов посмотрел на новенького и, словно вспоминая что-то, провел тонкой рукой по усталому лицу. – Кстати, знакомьтесь – сержант Дробот, Иван Сергеевич. После ранения прибыл на должность командира первого отделения и, значит, моего помощника. Ранен. Награжден. Разведчиком без малого два года. Участвовал во взятии десятка «языков». Пусть расскажет, как он заметил то, что мы просмотрели.

Дробот поднялся. Был он чуть выше среднего роста, слегка сутулый и потому кажущийся убогим, в поношенном ватнике и в хороших хромовых сапогах. На его скулах под темной кожей, с проступившим, должно быть, от волнения, серым госпитальным налетом, ходили тугие желваки, и потому лицо казалось злым и замкнутым. Но он неожиданно улыбнулся, блеснул яркой полоской ровных белых зубов и стал молодым, очень молодым, привлекательным

человеком, застенчивым и как будто мягким, чем-то похожим на Сиренко, – вероятно, готовностью пойти навстречу людям.

– Так это ж просто, товарищи, – смущенно протянул он. – Ведь я на все смотрел со стороны. Понимаете? Вы были заняты и по сторонам оглядывались мало, ага? А я пришел из тыла, взгляд свежий, делать нечего, вот я и смотрел...

Прокофьев все время ощущал становившуюся уже привычной раздвоенность. Он то возмущался немцами и их хитростью, то восхищался ими и в этом восхищении находил силы для утверждения собственных поступков. Но в одном он не был раздвоен: сразу невзлюбил сержанта, а теперь просто ненавидел его. Даже его ясную улыбку, его прошлое и его награды. То ему казалось, что Дробот один из тех, кто, по словам немецкого офицера, должен был следить за ним; то он думал, что новенький сержант просто очень опытный и умный разведчик, может быть, такой же хитрый, как и тот немец, и это вызывало и ненависть, и тревогу. Утверждения самого себя не получалось, и от этого сержант Дробот был еще опасней, потому что кроме всего прочего вызывал щемящую зависть: он сумел разобраться в происшедшем, увидеть то, чего не заметили другие, а Прокофьев не только не заметил, но и сдался. Даже удивительно гибкое и в то же время неожиданное присловье «ага», – даже оно вызывало ненависть, сдерживать которую было не вмоготу, и Прокофьев буркнул:

– Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека.

Он заметил, как ему навстречу метнулись острые взгляды разведчиков. Они вроде бы приняли новенького сержанта, внутренне согласились с ним и признали его правоту, а эта насмешка ставила под сомнение движение их душ. И трудно сказать, как бы обернулось дело, если бы Дробот не рассмеялся, очень весело, заразительно, блистая влажными острыми зубами.

– Это, однако, верно! Ага?

И все тоже засмеялись и как бы сравнялись с этим опытным разведчиком и явно простым парнем. И, окончательно принимая его в свою семью, кто-то спросил:

– Комсомолец?

– А как же... – сразу посерьезнел Дробот.

Прокофьев понял, что он не мог бы поступить, как Дробот: если бы ему в лицо смеялись другие, он бы обиделся. А этот словно потешается над самим собой.

Однако Прокофьев не успел разобраться в оттенках своей ненависти к Дроботу, потому что его вызвали в штаб полка.

Настоящий допрос длился больше часа, но твердо вызубренная легенда сделала свое дело. Последние подозрения с Прокофьева были сняты, и он вернулся во взвод почти уверенный в своей безнаказанности и, по его мнению, некоторой исключительности, хотя его волновали и Сиренко, который учуял в нем немецкий запах, и испытующий, исподлобья взгляд Дробота. Теперь Прокофьев знал, что Дробот умный, наблюдательный человек и его нужно бояться больше всех.

Глава третья. Сашкины страдания

Ночью выужило. А с утра разгулялось, и яркое солнце растопило снег. Было сыкотно и одновременно как-то празднично от проснувшегося вдруг леса, от света и тепла.

Разведчики отдыхали, чистили оружие, подолгу курили, ставили латки на продранные рукава и брюки.

Сиренко был мрачен. Он часто почти с ненавистью посматривал на командирскую землянку, в которой с утра совещались Андрианов, Дробот и только что назначенный вместо убитого сержанта Ахмадуллина командир второго отделения Петровский. На совещании присутствовал помощник начальника штаба по разведке – уже пожилой, полный, со светлыми глазами навывкате, добродушный, но вспыльчивый капитан Мокряков. Он любил квас, и потому Сиренко уже дважды носил в землянку котелок с квасом. Мокряков морщился:

– Разведчики... Посудины достать не можете. Подаете жирный квас. – Андрианов вино- вато вздыхал, и даже Петровский – высокий и ловкий парень в лихо сдвинутой набок ушанке – чувствовал себя виноватым. – А еще собираетесь «языка» брать.

Мокряков недовольно сопел и большими шумными глотками пил из котелка чуть хмель- ной острый квас. Все с некоторой почтительностью смотрели на него и думали, что Сиренко, вероятно, уйдет из разведки. Сашка тоже думал об этом. Поэтому он процеживал квас сквозь бинт все над тем же котелком: на больший протест он не решался.

Из третьего котелка Мокряков пил молча и сопел при этом не так сердито, как прежде. Сиренко почтительно стоял у притолоки и ждал. Ему очень не хотелось смотреть на Дробота, и все-таки он всматривался в его темное, невозмутимое лицо. И даже ненавидя сержанта, из-за которого ему придется расстаться со взводом и любимым делом, справедливости ради отмечал, что новенький сержант и в присутствии большого начальника, от одного слова которого зави- сит его судьба и, может быть, жизнь, был спокоен и не пытался показным сочувствием Мок- рякову принизить Сиренко и его работу. Больше того, Сашке показалось, что Дробот смотрит на капитана с долей веселого, неуважительного интереса, как на человека, который, сам того не замечая, показывает себя со смешной стороны.

Это тоже нравилось Сиренко, хотя он и старался ненавидеть Дробота. И он вдруг подумал, что капитан уже кончает третий котелок квасу, а еще ни разу не выходил из землянки. Это рассмешило, и он взглянул на Мокрякова с веселой искоркой в глазах. Капитан перехватил взгляд, оторвался от котелка, посопел и раздраженно сказал Андрианову:

– Хватит тебе этого бездельника опекать. Кваса подать не может, пускай в разведку ходит.

Сиренко слегка побледнел – не столько потому, что капитан предлагал использовать его как рядового разведчика и, значит, подставить под огонь, сколько от несправедливости: он точно знал, что приготовленным им квасом Мокряков угощает не только свое, разведыватель- ное, начальство из дивизии, но и командира полка. А вот теперь – хае.

От обиды он отвел глаза и увидел холодную, прямо-таки издевательскую улыбку Дробота. Сержант смотрел на Мокрякова, но Сиренко показалось, что смеется Дробот над ним, над его неудачной судьбой радиста и повара. Однако неприязни к сержанту не ощутил – Сиренко был справедливым человеком и отлично понимал двойственность своего положения.

Лейтенант Андрианов промолчал, Петровский неопределенно покачал головой, и Сиренко не понял, как отнеслись к капитанскому приказу его непосредственные начальники. Но то, что они его не защитили, обидело Сиренко, и он, вздохнув, опять взглянул на Мокря- кова.

Полное лицо капитана багровело, глаза светлели. Рывком передав почти пустой котелок Сиренко, Мокряков закричал на Дробота:

– Нечего смеяться, понимаешь! Болтать умеешь, учить всех насобачился, а своих подчиненных не воспитываешь! Распустил, понимаешь! Я вот посмотрю, как ты его приберешь к рукам! А то только защищаешь, понимаешь... – Вспышка проходила, и капитан говорил все спокойней.

Скуластое лицо Дробота было, как всегда, невозмутимо. Капитана, видимо, злила эта невозмутимость, и он сердито закончил:

– Как следует за него возмись! – кивнул он на Сиренко, и Сашка понял, что он, оказывается, уже в первом отделении и что Дробот успел его защитить. Это было так необычно, что Сашка растерялся и, тяжело переваливаясь, топтался на пороге. Капитан крикнул ему:

– Тащи квасу! – И, обращаясь к Дроботу, закончил: – Как следует воспитывай, понимаешь! А я спрошу. Распустились.

Сиренко хотел было уйти, но услышал голос Дробота.

– Будет исполнено, товарищ капитан, – сказал сержант с той спокойной, деловой почтительностью, с которой обращаются подчиненные к уважаемым начальникам. Потом голос его неуволимо изменился: в нем пробились нотки суровости и в то же время легкой насмешки: – Сиренко! Помойку не закрывать, помой выливать! – И, перехватив совершенно обалделый Сашкин взгляд, решительно закончил: – Все! Идите... за квасом!

И Сиренко ушел, так и не поняв, что же произошло в землянке.

Лейтенант Андрианов посмотрел на капитана, сержанта и спросил:

– Значит, план утверждаем?

Мокряков недовольно поджал губы, потом шумно вздохнул, погладил себя по животу, покрутил головой:

– Не нравится мне вся эта психология. Ох и не нравится! Доложи-ка еще раз, Дробот.

Сержант словно заранее был готов услышать приказ.

– Немцы поймали нас довольно хитро. Если мы сразу же сменим тактику, они поймут, что их разгадали, и усилят бдительность, ага... А если мы все оставим по-прежнему, они посчитают, что мы ничего не поняли...

– Плохого же вы мнения о нашем противнике, – усмехнулся Мокряков. – А ведь недавно совсем иное пели.

– А я и сейчас не очень высокого мнения, – невозмутимо ответил Дробот, – о немцах. Но об этом, – он сделал широкий жест рукой за спину, – думаю по-другому. Этот хитрый. Но... не умный, ага...

Мокряков почмокал полными, мягкими губами и пренебрежительно махнул пухлой рукой. Потом беспокойно покосился на дверь и решительно закончил:

– Ладно... Представьте легенду... план и все такое... Согласуем... Тогда, понимаешь... – И вдруг взорвался: – Опять твоего чертова повара нет! Вот воспитание!

Но Сиренко уже открыл дверь и молча передал капитану все тот же котелок. Мокряков оживился, долго и шумно пил квас, потом решительно поднялся:

– Действуйте пока, как решили. А там... там поглядим. Лошадь подана?

Сиренко, по знаку Андрианова, пошел за мокряковским ездовым. Командиры уточняли детали предстоящих действий и ждали, когда наконец уедет Мокряков.

Подали лошадь, и Мокряков, обстоятельно усаживаясь в крохотную тележку, подтыкая под себя сшитую из шинельного сукна полость, наставительно бурчал:

– Только поосторожней, понимаешь... Не выдумывать... чего не следует! А то с вас взятки гладки, а мне по заливку надают. – И, утомившись устраиваться, буркнул пожилому ездовому, боком примостившемуся на сиденье. – Пошел, что ли...

Утробно ёкая селезенкой, раскормленная лошадь с места взяла неторопкой рысью и скрылась за поворотом. Дробот взглянул на Сиренко, прищурился и шепнул:

– Силен капитан – четыре котелка квасу выпил, а до ветру так и не сбежал.

Сиренко с доверительной улыбкой посмотрел на своего нового командира. Сержант серьезно спросил:

– А может, в квасе не такая сила, как в пиве? Может, ты чего-нибудь недокладываешь?

Но глаза его, узкие, колючие, светились так весело, задиристо, что Сиренко расхохотался.

– Пойдешь со мной в паре? И только вдвоем, ага?

Сиренко растерянно посмотрел на сержанта, прикидывая, как понять его совершенно непонятное, будто ни к селу ни к городу присловье «ага».

– Ладно, ты подумай – такое дело, и, верно, сгоряча не решишь, а я пойду.

С этой минуты Сашка не видел Дробота больше суток. Он словно провалился – даже есть не приходил. И, на всякий случай подогревая ему еду в котелке, Сашка думал о его предложении и ничего не мог придумать.

С одной стороны, он – радист. А если и стал поваром, так это по собственному желанию. Надо же кому-нибудь готовить. Но и повара и радиста в поиск брать нельзя. Не те специальности. С другой стороны, капитан Мокряков приказал брать. Опять-таки приказ этот не окончательный – можно и обжаловать: Сашка вспомнил, что, в сущности, он немного и подчиненный Мокрякова. Он прикомандирован ко взводу разведчиков. А числится в роте связи. Стоит сказать командиру роты – и только они и видели рядового Сиренко. Но сделать так – значит, навсегда лишиться уважения не только разведчиков, но и связистов.

Человеку доверяют самое важное в армии – разведку, а он прячется в кусты. Значит, трус. А Сашка никогда не был трусом. И потом, он комсомолец. Как же он посмотрит в глаза другим, если откажется? Нет, он пойдет в любой поиск, на любое задание и выполнит его с душой, как и положено солдату. Тем более нужно искупить свою вину. Пусть хоть что говорят, хоть как судят, а ошибка с этим самым вороньем – ясная. И Сашка ее с себя не снимал. Наоборот, он судил себя и в конце концов осудил. А приговор обнародовал, когда кормил отощавшего за сутки Дробота.

– Пожалуй, я с вами пойду, товарищ сержант, – хмуро и почему-то вздыхая, сказал Сиренко, выставляя перед Дроботом котелок с пшенной кашей.

– Ага! – ненатурально обрадовался сержант не то каше, не то Сашкиному сообщению. – Решил, выходит, побаловать меня.

Сиренко не понял, к чему относится это замечание, и невнятно промямлил:

– А ее всем на обед давали... – И, заглядывая в смеющиеся глаза сержанта, неуверенно добавил: – Кашу то есть.

Дробот засмеялся. Немецкая алюминиевая ложка в его руке вдруг переломилась и расправилась – на другом ее конце появилась вилка. Сиренко отметил ловкость, с которой было проведено это превращение, хотя не мог понять, чему смеется Дробот. Сержант перевернул ложку и воткнул вилку в котелок.

– Ну молодец ты у меня. Ах молодец! До чего догадливый, до чего смекалистый – только для разведки и годишься. Осчастливил меня, дурака. Согласился идти со мной в разведку. – И вдруг, выпрямившись, сузив глаза, заговорил резко и безжалостно: – Вам нужно понять, рядовой Сиренко, что мне вашего согласия не требовалось – приказал бы – и пошли как миленький, ага... Но я понаблюдал за вами и подумал, что такой мешок с требухой, как вы, может еще стать человеком, а не только покровителем приبلудных собак. Поэтому и разговаривал с вами по-человечески. А теперь так – с завтрашнего дня будем тренироваться по часу, по два, но о поиске не заикайтесь. Туда, – сержант махнул рукой в сторону передовой, – берут только тех, кому верят, ага... Сейчас можете быть свободны.

Сиренко с недоброй улыбкой смотрел на Дробота и не спешил уходить. Сержант отодвинул котелок, взглянув исподлобья, протянул:

– Ну-у. Я кому сказал?

Было в этом сержанте что-то такое резкое, негибкое и в то же время тяжелое, что вспыхнувший было возмущением Сиренко все же таки подчинился и, косолапя, покачиваясь на ходу, вышел из землянки. Только на пороге он пришел в себя, понял, что его попросту выгнали, а уж на тропке к своей каптерке выругался, чтобы унять стыд.

Нет, дисциплина дисциплиной – все это верно, но среди разведчиков такого не бывало. Во взводе даже лейтенант такого не позволял. Есть во взводе и приказы, и подчинение, и все такое прочее, но есть еще и другое – то непоказное товарищество, которое не позволяет командиру так вот выгонять подчиненного.

К утру отходчивый, как все добрые люди, Сиренко остыл и уже примирился с тем, что неладная история с сержантом может привести к тому, что его все-таки выгонят из взвода. Что ж... Не всем ходить в героях. Ну, правильно, не трус. Верно, комсомолец. Ну а если нет в нем этой самой военной косточки? Если он по самой натуре своей – человек мирный? Если ему больше нравится возиться на кухне, чтобы потом видеть, как ребята уплетают за обе щеки то, над чем он потел и думал, если ему жалко и ворон, и собак, и вообще всякое зверье. А уж о людях и говорить нечего.

Конечно, на войне нужна безжалостность, потому что здесь один закон – ты не убьешь, тебя убьют. Все это понятно, но Сашка не мог себе представить, как он будет кого-то убивать. И в душе, стараясь не признаваться в этом самому себе, он решил: «Пускай переводят обратно в роту. Черт с ними – буду работать. На войне и такие нужны».

И все же спокойная и чем-то самоуничижающая мысль эта все-таки претила Сиренко, и вместе с мирным решением у него в душе бродило еще и презрение к самому себе: все-таки труслив ты, Сашка... Как ни говори, а труслив.

Разбираясь в этих путаных мыслях, Сашка забыл об обещанной сержантом тренировке и потому утром, в самый разгар подготовки к завтраку, искренне удивился, когда услышал неприятный, с металлическими оттенками голос Дробота:

– Рядовой Сиренко, ко мне!

В иное время, если бы кто-нибудь из разведчиков или даже сержантов крикнул ему такое, Сашка обязательно бы обиделся и, не отходя от кухни, ответил что-нибудь вроде: «Пошел к черту», или: «Не видишь, занят», или в крайнем случае: «Погодь минутку». Да и не приняты были во взводе такие оклики. Лейтенант Андрианов и тот вызывал деликатней: «Сиренко, а ну-ка... Сиренко, сбегай-ка...» А тут – «рядовой Сиренко», да еще «ко мне!». Фон-барон какой нашелся!

Все восставало в Сиренко, все заставляло его сразу, раз и навсегда показать свою самостоятельность, и все-таки он, сам не понимая почему, покорно отошел от кухни, потупив глаза, и буркнул:

– Слушаю.

– Не «слушаю», а «прибыл по вашему приказанию», ага. – И после паузы, с невыразимыми нотками презрения, удивления и нарочито наивной растерянности в голосе, пропел: – Ну и выправочка у вас, товарищ Сиренко... Медведь по сравнению с вами – правофланговый.

Сашка искренне удивился, почему медведь по сравнению с ним правофланговый, поднял глаза, чтобы попытаться выяснить этот вопрос. Но Дробот не дал ему опомниться. Он сдержанно рывкнул:

– Смирно! – И когда Сиренко, скорее от неожиданности, чем подчиняясь команде, вытянулся, Дробот уже сдержанней скомандовал: – Кругом! Шагом марш! – А когда опешивший Сиренко выполнил команду, пропел все с теми же нотками удивления и презрения: – Ножку, ножку на первом шаге нужно давать.

Из землянки вышли разведчики, посмотрели вслед вышагивающему Сиренко и тоненькому по сравнению с ним сержанту, невесело пошутили:

– Повели телка на веревочке.

– Строевой на передке заниматься начал – умора! – преувеличенно шутовски и слишком громко крикнул Прокофьев и, сам почувствовав, что переборщил, тревожно осмотрелся.

Хотя все понимали комичность положения, откровенная злость в прокофьевском голосе смутила разведчиков, потому усмехнулись они невесело, закурили, и кто-то подвел черту:

– Братцы, а ведь Сиренко, пожалуй, оставят...

Этот бесспорный вывод почему-то примирил со все еще не до конца понятым сержантом всех разведчиков, но не Прокофьева. Дробот показался ему еще опасней и неприятней. Уже изошряемый постоянной настороженностью прокофьевский ум отметил еще одну несуразность события. Два опасных для него человека доставляют неприятности друг другу. И с острой практической проницательностью Прокофьев понял, что, если эти неприятности углубить, сделать заметнее, оба эти человека могут стать врагами, и тогда в своей вражде забудут о своих подозрениях. Тогда он, Прокофьев, может быть спокоен. И он довольно улыбнулся, решив: «Надо их сравить, пускай грызут друг друга».

Сиренко слышал насмешки, знал, кто говорил ему вслед, и все-таки вышагивал, стараясь припечатывать ногу всей ступней и от этого забывая, какую руку нужно выносить на мах, а какую в замахах, и потому ощущал страшную скованность и растерянность. Он начал краснеть от стыда, от сознания своей беспомощности и, вероятно, несуразности.

Он и в самом деле был несколько несуразен. Большой – на голову выше Дробота, с широкими опущенными плечами, большим животом, туго перетянутым брезентовым ремнем, и толстыми икрами. Шинелька у него была кургузая, чуть прикрывавшая колени, и потому, наверное, икры казались особенно мясистыми, а ноги чуть кривыми.

Стыд все жег и жег Сашку, шея из розовой превратилась в бурую, на широком носу выступили капельки пота, лоб под ушанкой горел и чесался. В душе накопилась злость, и он, вышагивая, яростно ругался про себя. Но прекратить это дурацкое, с его точки зрения, вышагивание он почему-то не мог – мешало сознание святости строя и команды, которое влезло в него еще в запасном полку и вот теперь неожиданно оказалось сильнее самого Сиренко.

Смешное это зрелище нарушил Дробот.

– Бегом... – скомандовал он и, прижав руки к бокам, недовольно выпевая, потребовал: – Ма-арш!

Сам он вырвался вперед и повел за собой Сиренко. Они бежали по лесу без дороги, перепрыгивая через вывороченные взрывами деревья, петляя меж зарослей осинника и частого ельника. В лицо били холодные от утренней росы ветви, кололи хвоинки. Но противней всего была паутина. Она обволакивала лицо, вызывая непреодолимое чувство брезгливости, и тогда Сашке хотелось как можно скорее снять паутину. Он тер лицо руками, терял темп и, главное, направление, и то, как кабан, врезался в кустарник, то спотыкался и, чертыхаясь, задыхаясь, еле нагонял легкого и верткого Дробота.

На полянке между нарядных сосенок-подростков, на жесткой чуть притрушенной первым снегом траве Дробот остановился и, не давая передышки, сказал:

– Слушай задачу.

Сашка запаленно дышал, пот струился не только из-под ушанки, но и по всему телу, вызывая неприятное ощущение заползших под белье мурашек. Он дергался, чтобы сбросить проклятых мурашек с зудящего тела, и проклинал своего мучителя: «Вот навязался, черт закопченный! И где только тебя выкопали!»

– Прекратите чесаться, – брезгливо одернул его Дробот, и Сиренко, все так же мысленно проклиная его, замер. – Будем отрабатывать рукопашный бой. Обратите внимание – я вдвое меньше вас и, вероятно, вдвое слабее. Так вот, ваша задача – скрутить мне руки и взять в плен. Нападайте.

Дробот стоял прямо и острыми, глубокоседающими глазами пристально смотрел в красное, усталое лицо Сиренко. Первое, о чем подумал Сашка, было: «Ох, и наломаю ж я тебе сейчас бока».

Он наклонился чуть вперед, набычился и уже тронулся было с места, как вдруг понял, что не сможет напасть на Дробота, а тем более скрутить ему руки. Все ж таки он командир.

«Помну я его ненароком, – подумал Сиренко, – а потом сам себе не рад буду. Хай он скажится».

– Ну-у! – требовательно крикнул Дробот.

И Сиренко пошел. Пошел осторожно, бочком, далеко выставив руки, словно в темноте, на ощупь пробираясь по незнакомой комнате. Он опять ощутил свою неуклюжесть. От этого ему вновь стало стыдно. Тренировка начинала походить на детскую игру в ловички, или, как говорили в родном Таганроге, латки.

Сиренко все тянулся и тянулся к Дроботу, так и не решаясь ни дотронуться, ни броситься на него, пока это наконец не надоело сержанту. Он вдруг схватил Сиренко за руку и несильно дернул на себя. От этого неожиданного толчка Сашка развернулся боком. Дробот ловко проскользнул у него под растопыренными руками, ногой ударил по толстой Сашкиной ноге, отчего Сашка и вовсе потерял равновесие. Потом сержант присел, снова толкнул Сиренко, и тот невольно шатнулся, а падая, очутился на спине у сержанта.

Все произошло так стремительно и необычно, что Сашка даже удивиться как следует не успел и запоздало подумал, что вот сейчас-то он наверняка схватит Дробота. Но в это мгновение его перевернуло, он куда-то понесся и, услышав натруженный выдох – такой, какой издают дровосеки, всаживая колун в толстую плаху, – шлепнулся на жесткую траву белотел. А когда шлепнулся, так и не понял, сам он «гекнул» или это «гекнул» от напряжения сержант.

Дробот стоял над ним все такой же спокойный и насмешливый. А Сашка чувствовал, что все его большое, мягкое тело начинает пронизывать боль от тяжелого удара о подмерзшую землю. Дробот, наверное, знал, что боль эта и обида должны подкосить Сашку, но он не нашел в себе чуткости, на которую в других условиях вправе был рассчитывать Сашка. Сержант приказал жестко:

– Встать! – И когда Сашка, еле сдерживаясь, чтобы не охнуть, поднялся на ноги, Дробот безжалостно продолжал: – За каким чертом пошли вы в разведку, если я могу вас швырять, как хочу. А ведь немцы покрепче меня попадают. Ручки расставили, ага... Ну! – снова приказал он. – Нападайте!

Если бы Дробот не кричал, Сашка, возможно, и простил бы ему всю эту сцену. Но Дробот так ругал его, как Сашку еще никто на свете не ругал. И этого он простить не мог. Сцепив зубы, он, как в прорубь, ринулся на Дробота и сейчас же почувствовал острую боль в плече, перевернулся и очутился на жесткой траве. При этом он так ударился головой, что услышал, как клацнули зубы. Дробот опять стоял над ним и с уничтожающим презрением цедил:

– Рот закрывать нужно. Это вам не ворон считать! Ага. Встать! Ну, нападайте, нападайте, черт вас возьми! А еще комсомольцем себя считаете! – и уж совсем некстати припечатал свое невозможное «ага».

Сашка встал и, продираясь сквозь вставший перед глазами розовеющий туман, ринулся на Дробота и опять очутился на земле, снизу поглядывая на сержанта, выслушивая его наставления.

Иногда Сашку захлестывала злость, иногда оторопь, иногда он внутренне подбирался и решал быть хитрым и осторожным, когда ему казалось, что он уже понял, на чем его ловит этот жилистый, ловкий и увертливый, как зверь, смуглый сержант. Но что бы ни делал Сиренко, что бы ни ощущал, все равно после очередного нападения на Дробота он лежал на земле и выслушивал то, за что в «гражданке» свернул бы голову любому. И что самое обидное – человек сам предлагал ему свернуть голову, подставлял эту голову, а Сашка ничего не мог сделать. Когда

он понял, что бессилен перед сержантом, Дробот вместо надоевшей команды «Ну, нападайте же» приказал:

– Ползком!

Они ползли по холодной, в инее траве, вдыхая запах опавших листьев, разжиженных морозцем грибов. Ползли по жесткой, неправдоподобно зеленой листве брусники, и Сашке было неприятно давить своим грузным телом алые, как подсохшая кровь, тронутые заморозками ягоды. Он вдруг понял, как нечеловечески устал, как все в нем болит, как дрожит каждая жилка и каждый нервик. Он уже не мог ползти и клялся самому себе, что вот сейчас, вон возле той елочки остановится и будет лежать, а сержант пусть ругается, потому что все равно завтра он, Сиренко, уйдет в свою роту – ведь нельзя же согласиться с таким издевательством. Пусть бы оно приносило хоть какую пользу, а то ведь терпеть приходится просто ради сержантского удовольствия.

Но елочки мелькали одна за другой, самые страшные клятвы сменялись еще более страшными, все болело в нем сильнее и сильнее. Каждый нервик и каждая жилка уже не просто дрожали, а прямо-таки рвались на части, глаза заливали пот и туман крайней усталости. А Сашка все полз и полз. Когда мысли наконец пропали и сменились тупым безразличием, Дробот приказал:

– Бегом марш!

И Сашка поднялся и побежал – спотыкаясь, задевая ногой за ногу, ни о чем не думая и почти ничего не ощущая. Совсем неподалеку от землянок Дробот остановился и презрительно протянул:

– На кого вы похожи, Сиренко, смотреть неприятно. Надо же так извозиться. – И пока Сиренко лениво отряхивал полы кургузой шинеленки, приказал: – На свободе разберитесь в собственных ошибках и постарайтесь понять, почему вы каждый раз оказывались на траве. Утром повторим. Сейчас приступайте к выполнению своих обязанностей.

И тут только Сашка понял, что они стоят неподалеку от помойки, возле которой на кустике сидела ворона и насмешливо посматривала на Сиренко.

– Вот проклятая! – выругался Сашка и сейчас же лениво подумал, что в приметы он все равно не верит.

Побитое тело болело, белье пропиталось потом, и вечером, моясь, Сашка увидел, как по всему телу начинают проступать синяки. Он вздохнул и почти с ужасом вспомнил, что завтра все повторится сначала.

Первое, что ему захотелось, – пойти к лейтенанту Андрианову, пожаловаться на Дробота и добиться откомандирования в роту связи. Но он сейчас же осекся – неутоленная злоба, которая все-таки таилась в Сашкином сердце, заставила его отставить это желание.

«Я ему, черту обугленному, вязы сначала сверну, а уж потом уйду, – мстительно думал Сашка, но тут же, по врожденной своей справедливости, почти с восхищением отмечал: – Нет, до чего ж ловкий, зараза! И откуда в нем сила берется?»

Так и пошла невероятно тяжелая Сашкина жизнь. Каждый день Дробот выводил его то на поляну, то в овраг и дрался с ним не на жизнь, а на смерть, заставлял бегать, ловить себя и, что было хуже всего, таскать себя на плече, на спине, под мышкой, волочить по траве. Уляжется на Сашкиной широкой спине и покрикивает:

– Задницу не поднимай – немцы молчать не будут. Обязательно стрелять начнут, и уж на что плохие стрелки, а в такую гору не промажут.

Сашка стискивал зубы, полз и слушал эти тысячу раз распроклятые поучения и еще более ненавистное дроботовское «ага».

«Где он присказку эту поганую подцепил, – думал Сашка. – “Ага, ага”, а что в этом “ага” – ни один бес не разберет, – и тут же, из справедливости, отмечал: – И как он ее всегда на место ставит!»

И в самом деле, дроботовская присказка отличалась удивительной емкостью. Она включала в себя столько понятий, смыслов и оттенков, что заменяла десятки междометий, слов и даже целых предложений. Только нужно было слушать сержанта и смотреть на него.

Раздумывая над своей разнесчастной судьбой и поведением Дробота, Сашка старался не обращать внимания на насмешки разведчиков и даже на вопрошающие улыбочки лейтенанта. Он знал, что попал в переделку, знал, что бывает смешон, но не это было главным. Главное было в том, что собственная гордость и властная воля сержанта заставляли его делать то, чего он не хотел и, в сущности, не должен был делать.

Впрочем, насмешек было не так уж много. Разведчики пропадали на переднем крае, все на том же неудачном для них участке. Только Дробот и лейтенант ходили в другие места, иногда исчезая на ночь. Но и после бессонной ночи Дробот все равно тренировал Сашку.

Глава четвертая. Брусничная вода

Прежде чем принять окончательное решение, капитан Мокряков приехал проверить, как взвод готовится к выполнению андриановского плана. Отпустив дрожки, Мокряков, переваливаясь, юркнул в землянку, уселся за стол и беспокойно покрутил головой. Андрианов вздохнул:

– Сейчас прикажу, товарищ капитан. – Он открыл дверь и крикнул: – Сиренко, квасу!

Капитан успокоился и заговорщически наклонился к лейтенанту.

– Ох не нравится мне эта затея, – сокрушенно покачал он головой, взглядом приглашая Андрианова высказаться.

Но лейтенант молчал. Перед любым поиском капитан обязательно сомневался в принятом решении. Ему все понравилось. Зато потом, когда пленного взять не удавалось, он, как ему казалось, справедливо упрекал:

– Ведь говорил – не нравится мне эта затея! А вы...

Раньше Андрианов и все остальные соглашались с Мокряковым, потому что трудно не согласиться с начальником, который действительно говорил... Но сегодня Андрианову не хотелось, как прежде, уговаривать капитана и тем самым как бы брать на себя всю ответственность за исход поиска, а тем более что-либо обещать, чтобы потом кривя душой соглашаться: да, в самом деле, вы предупреждали. Дело затевалось рискованное, и пусть решает Мокряков.

А капитан не любил решать. Не дождавшись привычного уговаривания, он попытался осуществить второй свой маневр – строгую проверку исполнения приказаний. Он откинулся, слегка выпятил грудь и, грозно сдвигая кустистые брови, сердито спросил:

– На передовой лично проверял? А то, может, твои голубчики просто по землянкам отсиживались, а мне потом отвечай.

Раньше Андрианов обязательно стал бы доказывать, что он ежедневно бывает на переднем крае и проверяет работу наблюдателей. Можно было бы показать и журналы наблюдений, и отчетные карточки с боковых и временных наблюдательных пунктов, не преминув похвалить кое-кого за грамотную отработку отчетных документов. Прокофьев, например, представил отличную карточку. Но сейчас делать это не хотелось. Просто надоело защищать от неоправданных нападков людей, с которыми завтра пойдешь на смерть. И Андрианов опять промолчал. Капитан впервые слегка растерялся и уже обиженно спросил:

– Ты что ж это? Разговаривать с начальником не хочешь?

– Просто я уверен, – неожиданно желчно ответил лейтенант, – что вы и сами видели, как работали в эти дни разведчики. Ничуть не хуже, чем в прошлый раз. Только более скрытно. – И впервые твердо взглянул в светлые, беспокойные капитанские глаза. – Работали так, как было уточнено с вами.

Капитан поерзал – на передний край, да еще днем, он выходить не любил. Как ни оборудована оборона, а траншеи есть траншеи, и при капитанской комплектации не очень приятно тереться шинелью о земляные стенки, подставлять голову немецким снайперам. Ночью капитан бывал на наблюдательных пунктах, а днем у него находились дела в штабе...

Но он постоянно контролировал разведчиков через командиров рот и батарей, позванивая им по телефону и жалуясь, что не может поспеть по всему своему хозяйству. И строевые офицеры честно доносили ему, как работают разведчики на их участках – ведь разведчики всегда делились добытыми сведениями с командирами, а те, в свою очередь, рассказывали им обо всем интересном, что заметили ротные или батарейные наблюдатели. Контакт был полный, и, значит, информация у капитана была правдивая. В общем, Мокряков был неплохо осведомлен о положении дел. Но ершистое настроение лейтенанта его беспокоило, и он задал еще один вопрос:

– А этот... новенький... Дробот... не подведет?

– Откуда же я знаю, товарищ капитан? – пожал плечами Андрианов. – В деле его не видел. Разбор он сделал толковый, к поиску готовится активно, с выдумкой. А там... поживем – увидим.

– Как у тебя все легко, понимаешь, – поморщился Мокряков: разговор мудрого начальника с почтительным и менее умным подчиненным не получался. – Смотри, я тебя учить не буду. И покрывать не стану. Самому придется ответ держать.

Выходило, что капитан уже принял решение, но это даже не радовало – ведь иначе и не могло быть. Андрианов, сердясь, упрямо наклонил голову – перед каждым поиском Мокряков обязательно обещал не покрывать. Надоело...

Они помолчали, и Мокряков несколько раз с надеждой посмотрел на дверь. Лейтенант наконец перехватил его взгляд и вышел.

– Сиренко! – крикнул он, держась за притолоку. – Где квас?

И вдруг случилось то, чего еще не помнил взвод. Из каптерки послышался равнодушный сиренковский басок.

– Нету кваса, товарищ лейтенант, не заваривал.

Это был скандал, и Андрианов вначале растерялся, потом возмутился: Мокряков мог простить все, но только не отсутствие кваса. Поэтому Андрианов пошел к кухне. Пошел не затем, чтобы найти квас, а просто потому, что именно там сейчас образовалось самое опасное положение, а он всегда шел туда, где было трудней. И едва он отошел от землянки, как на его месте показался Мокряков и тоже взялся за притолоку.

Он был не то что рассержен, а скорее оскорблен. Как и все начальники его склада, он был глубоко убежден, что подчиненные любят его за отеческую строгость, за то, что он умеет с напускной грубоватостью поговорить с ними на их языке, словно у солдат или сержантов есть один язык, а у командиров другой; любят за то, что он хоть и грозил гораздо чаще, чем следовало, но все-таки не наказывал. А тут оказалось, что во взводе забыли о нем, не приготовили даже такого пустяка, как квас. В других местах начальников поят водкой, готовят для них особые блюда, вообще стараются отличиться, показать свою любовь и уважение. А здесь... Нет, он был оскорблен в самых лучших чувствах и потому смотрел на кухню с мягким и грустным сожалением, слегка покачивая головой, словно говоря: «Эх, вы... Как же это? А?»

Андрианов подошел к каптерке и тревожно спросил:

– Вы что, шутите? Сиренко! Ведь капитан приехал...

– Так, товарищ лейтенант, меня ж Дробот вконец затренировал. Нема ж никакого часу... – И вдруг почти с ужасом произнес: – Ага.

Сиренко так покраснел, так смутился от этого ненароком вырвавшегося присловья, от запоздалого раскаяния в ябеде на своего командира, что Андрианов улыбнулся и почесал затылок.

– Что же теперь делать, Сиренко? Капитан и тебя и меня съест. А заодно и чертова Дробота.

– Ну шо я могу сделать? – Сашка прижал огромные руки к груди. – Шо я могу сделать? Ну забыл! Кругом забыл, и потому виноватый! Может, чаю ему принести? А то – водки? У меня в запасе есть.

– Не пьет он водки, – протянул Андрианов.

– Не может того быть, – убежденно сказал Сиренко. – Такой большой человек, толстый, между начальства всегда, и чтобы водки не пил.

– Нет, не пьет.

– Ну шо ты сделаешь! – Сашка на мгновение задумался, потом махнул рукой и решил: – Почекайте, товарищ лейтенант, может, я это дело справлю.

Он решительно отстранил лейтенанта, поправил ушанку, заправил шинеленку под брезентовым ремнем и пошел к командирской землянке. Андрианов обернулся и с интересом

посмотрел ему вслед: такой решительности действий он за Сиренко не замечал. Даже походка у него изменилась – стала более стремительной, не косолапящей.

Сиренко лихо подошел к капитану, лихо брякнул задниками и с завидной сердечностью сказал:

– С прибытием, товарищ капитан. Вы не подумайте, что мы тут о вас забыли, но только в этот раз квасу я нарочно не заваривал. – И почтительно разъяснил: – Потому дело к морозу, с квасу не потеется. На сегодня, товарищ капитан, я вам другое приготовил...

Капитан смотрел на него недоверчиво, и в глазах еще сквозила оскорбленность. Постепенно она исчезала, взгляд потеплел. Нет, конечно же его любили, о нем думали, и это было очень приятно. Но показать этого он не мог. Потому Мокряков вроде бы и сердито, а на самом деле добродушно буркнул:

– Что ж ты там наготовил, штрафник несчастный.

– А вот почекайте минутку, и я вам притащу. Разрешите идти?

И когда капитан, нарочито скептически усмехаясь, отпустил его, Сашка лихо повернулся и пошел к кухне. Поравнявшись с лейтенантом, заговорщически шепнул:

– Авось вывезет.

Успокоенный лейтенант пошел к землянке, а Сашка закрутился в каптерке.

На тренировках он заметил, что в короткие минутки передышек Дробот собирает бруснику, а когда Сашка спросил, почему он не закуривает, объяснил:

– Вы же сами чувствуете, какая у нас нагрузка. Зачем же подрывать организм табаком? Курить хорошо на свободе, ага, а сейчас требуются витаминчики. – И отправил в рот горсть алых твердых ягод, поморщился, проглотил сок и опять наклонился к земле.

Отрабатывая показанные Дроботом приемы, Сашка уходил в лес и постепенно пристрелился к бруснике. Теперь в землянке у него был целый котелок ягод. Он раздавил их в марлевом мешочке, сок сцедил все в тот же котелок, добавил сахару и на минуту задумался – кипяченой воды у него не было, а остуженный чай не годился: как Сашка ни мыл котлы, а все равно в чае плавали радужные пленки жира. Сиренко смело залил котелок водой из реки.

– Черт с ним – она еще холоднее.

Мельком посмотрев на себя в недавно прикрепленное к накату зеркальце, Сашка поправил ушанку, потрогал пуговицы на гимнастерке и, подхватив котелок, помчался в командирскую землянку.

– Вот, – со сдержанной гордостью победителя сказал он, выставляя котелок перед капитаном. – Если не понравится, в другой раз опять квас сделаю... – И, изобразив на лице творческое раздумье, покачал головой: – Но, думаю, должно понравиться. Все-таки чистые витаминчики. В госпиталях раненым дают.

Мокряков недоверчиво покосился на котелок и поднял взгляд на Сашку. Сашка впервые не потушился, не засопел и не смолчал. Он развел руками, с легким возмущением в дрогнувшем голосе ответил:

– А я что сделаю, товарищ капитан? Ведь я тому начпроду сколько уж говорил: «Так, мол, и так, начальство у нас бывает, а мне ему и квас подать не в чем. Хоть бы макитрочку какую бы... поприличней...» Так он мне знаете что ответил?

Мокряков молчал, но по беспокойному, любопытствующему взгляду Сашка понял, что нужно продолжать.

– А он мне так и сказал. – Белесые брови Сашки поднялись вверх, мягкий, окруженный впервые прорезавшимися морщинками решительности, сочный рот округлился. – А он мне ввернул: «Невелико у вас начальство. И котелком обойдется». Ну что ему скажешь, товарищ капитан, если он разведки не понимает? – очень натурально возмутился Сашка и, смягчая неприятное впечатление, доверительно сообщил: – Я теперь сам в разведку ходить буду, я вам посудину у него расстарюсь. А сейчас, товарищ капитан, извиняйте...

Мокряков нахмурился и, не зная, как и что ответить повару, сердито посопел и отвернулся. А Сашка – само радушие и сочувствие – наклонился вперед и пропел:

– Да вы попробуйте, товарищ капитан. Попробуйте, не требуйте.

И хотя капитан не знал, что «не требуйте» это все равно что «не брезгуйте», он все-таки настороженно наклонился над котелком, пригубил и, почмокав, сглотнул. Потом долго смотрел в тусклое оконце землянки, снова сделал глоток и почмокал. Наконец решительно выпил половину котелка, крикнул и тут только понял, что начпрод, в Сашкином изложении, в сущности, оскорбил и его и службу разведки. Этого он простить не мог. И, размеренно перелопачивая в памяти Сашкин рассказ, он наливался обидой и злобой. Но так как благополучие начпрода от этого не зависело, Мокряков злился уже просто так, на того, кто ближе. Ближе всех был Андрианов, и поэтому капитан, сам не зная почему, видимо, чтобы сорвать эту самую злобу, вдруг буркнул:

– Это мы еще решим – пойдешь ты в разведку или не пойдешь.

Сашка насторожился и подумал, что все-таки его могут убрать из взвода. После тренировок, после внутреннего борения это было не только обидно, но и просто неоправданно. Может быть, впервые Сашка перестал ощущать в себе нерешительность, а сейчас даже слегка гордился тем, что так ловко и смело провел капитана. Но капитан не знал всех событий...

– Иди-ка приготовь твоих витаминчиков. – И, заметив, что Сашка хочет не то возразить, не то спросить о чем-то, взорвался: – Иди, говорят, понимаешь! Разболтался здесь! – Тут он вспомнил, что отдал повара под начало Дробота, и мгновенно решил сорвать злобу на нем: – Командир, понимаешь, с тобой цацкается, вот и... Вызвать Дробота!

Пока сержанта будили, пока он одевался, Мокряков почти забыл, зачем он вызывал командира первого отделения. Рассматривая сержанта, Мокряков потягивал брусничную воду, вспоминая все перипетии сегодняшнего утра. Наконец дошел до брусничной воды, начпрода и Сашкиного обещания достать в разведке посудину получше. Человек незлобивый и, в сущности, мягкий, Мокряков подумал, что радиста, да еще повара посылать рядовым разведчиком жестоко и незаконно: он двойной специалист.

– Вот что, Дробот, ты с кем собираешься идти в паре?

– С рядовым Сиренко, – твердо, как о решенном деле, ответил сержант.

– Кгм... Придется тебе другого подбирать... напарника. – Заметив недоумение сержанта, терпеливо разъяснил: – Он все-таки радист. А также повар... хороший повар. Придется брать другого. – И, считая разговор законченным, припечатал: – Вот так.

Лицо у Дробота посерело, глаза сузились и словно бы позеленели. Но сказал он спокойно:

– В таком случае, товарищ капитан, в поиск идти не смогу.

В разведке свято соблюдается принцип добровольности. В определенных случаях разведчик может не пойти в поиск даже без внешней уважительной причины. Поэтому заявление Дробота можно было принять, хотя и заметить: трепач, а может быть, трус, и потом долго проверять его в бою. Но сейчас отказ сержанта идти в поиск, который проводился по плану, выработанному совместно с Дроботом, был прямым вызовом и требовал принятия срочных мер. А так как Мокряков ни разу не сталкивался с подобным протестом, он растерялся и не знал, что предпринять.

Андрианов понял, что дело приняло опасный оборот, и решительно вмешался:

– Я тоже считаю, что Сиренко должен идти с сержантом. Дробот две недели тренирует его, и, если теперь верит ему, – значит, половина дела сделана. Менять напарника поздно.

Мокряков растерянно взглянул на Андрианова, но лейтенант, уловив эту растерянность, нанес последний удар:

– Впрочем, если вы решили отменить свой предыдущий приказ, я могу дать Дроботу Прокофьева. Это разведчик грамотный, и действовал он как раз в том районе. Правда, придется отложить поиск на несколько дней – паре необходимо сработаться.

Капитан понял, что попал впросак, и теперь думал о том, как бы поприличней вывернуться. Он начал шумно глотать брусничную воду, поглядывая подведенными под лоб и потому покрасневшими глазами то на Дробота, то на Андрианова. Разведчики молчали, а брусничная вода кончалась. Мокряков отставил котелок и с сердцем сказал:

– Балую я вас, вот что. А вы подумали, что скажет командир роты связи? – И, понимая, что теперь нужно оправдать свой прошлый приказ, уточнил: – Одно дело, когда я его просто в разведку послал. Это нужно. Пусть втягивается. Вроде тренировки. Другое дело, когда в группу захвата. На решающий участок, понимаешь? Получается, что мы его вроде в свой штат зачислили. Тут командир роты связи может подняться...

Все получилось как будто правильно. Приличие соблюдено. Можно было заняться другими делами. А заниматься ими капитану Мокрякову не хотелось. Что-то стронулось в его душе, но что именно и почему – он еще не знал. Может быть, в том была виновата брусничная вода, может быть, убежденная решительность Дробота, только впервые за долгие годы Мокряков был недоволен собой. Он словно посмотрел на себя глазами своих подчиненных и увидел и свою толстеющую фигуру с большим животом, и свою непоследовательность в решениях, и дешевое увлечение квасом. Нет, эти молодые, смелые ребята не могли смотреть на него с настоящим уважением. Чем-то они были лучше и чище капитана.

Это не злило его. Наоборот, рождало тихую и мягкую грусть, постепенно переходящую в нечто похожее на нежность, но к кому и к чему – он еще не знал. Просто он был очень одинок.

В этот день он долго пробыл во взводе и впервые уехал в штаб с таким ощущением, словно оставил здесь что-то ненужное, старое, надоевшее, а взял взамен светлое и молодое. И он был благодарен за этот подарок.

Глава пятая. Три часа поиска

Два последних дня перед поиском Сиренко недосыпал. Днем Дробот таскал его на передний край и из траншей показывал все возможные варианты отхода, уточнял ориентиры. Ночью они ползали за передним краем вместе с саперами. Сашка ежился оттого, что в лицо то и дело били холодные бурьяны, над самой спиной свистящими светляками пролетали трассирующие пули, и еще от сознания, что противник рядом и в любую минуту может обнаружить их, и тогда... Что будет тогда, Сиренко представлял слабо: в настоящем бою он не участвовал, но понимал, что будет страшно.

Однако пули пролетали над ним и не задевали, бурьян просто надоел, а противник не обнаруживал. Постепенно обстановка становилась привычной, и неминуемый в таком деле страх отступил и, как говорят пехотинцы и охотники, залег. Сашку просто интересовало окружающее, он жадно впитывал и новые ощущения, и новые понятия. Он убедился, что ночью на фоне более светлого неба можно увидеть силуэты, что просвистевшая пуля не страшна, что мина, прежде чем разорваться, дает о себе знать слабым толчком земли. Мир словно раздвинулся перед ним, стал более понятным и потому менее страшным. И хотя он по-прежнему недолюбливал своего командира и относился к нему настороженно, он все-таки был благодарен Дроботу за открытие этого мира. В нем Сашка чувствовал себя как будто моложе и, уж во всяком случае, крепче, надежней. Таящиеся в нем силы словно обретали выход.

Возвращаясь с передовой, Сашка возился на кухне. В день поиска он приготовил особенно сытный завтрак, заодно сварил легкий обед, но помойку предусмотрительно не вылил на помойку. Привыкшие к верной еде, вороны уже с полудня расселись на вершинах высоких берез возле лагеря. Они сидели молча, нахохлившись и оживлялись только тогда, когда внизу появлялся кто-нибудь из разведчиков. Тогда вороны слетали на помойку и, вышагивая, укоризненно покачивали головками.

Андрианов, Дробот и Петровский, уточнявшие последние детали поиска, посматривали на ворон с тревогой. Она усилилась к обеду, когда прилетел новый горланивший, голодный отряд. Вероятно, между воронами была своя, птичья договоренность, и разом в одно место они не слетались. Теперь все спуталось. Прибывшие возмущенно орали. Те, что сидели на березах с самого утра, оправдывались, но мест не покидали.

Вероятно, в запальчивости какая-то из новеньких ворон уронила оскорбительный звук. Березы вдруг опустели, и птицы закружились в одном, неистово орущем клубке, из которого медленно опускались пепельные перышки. Потом обе группы успокоились и расселись на берегах порознь, но опять заспорили и опять взлетели.

Так повторялось несколько раз.

– Посмотришь на них, – сплюнул Андрианов, – и в самом деле в приметы поверишь.

– Ну, если верить в приметы, так нужно ждать не ворон, а воронов. Это на них приметы распространяются, ага...

– Все равно... Неприятно. И слушай, что-то их слетелось слишком много. И орут. Не помешают?

– Не... Так и задумано, – хитро улыбнулся Дробот. – Вы сейчас станьте на место его наблюдателя. Что он видит? Вороны раз пять поднимались тучей, кружились и садились. Почему? Выходит, в лагере идет какая-то подготовка. Может, начальство приехало. Может, сами разведчики бегают, суетятся. Словом – все может быть. Я уверен, что сейчас все его разведывательное начальство смотрит на этих ворон.

– Не многовато ли их? Вот чего я боюсь, – сдавался лейтенант.

– Так их же две партии собралось, ага. Одна всегда только завтракала, а потом улетаала дальше, а вторая только обедала. Я ж за ними, проклятыми, две недели следил. А теперь вместе собрались. Сиренко им график-то сорвал.

Андреанов покрутил головой:

– Как бы они нам график не сорвали.

Но все обошлось. После обеда, отоспавшись, Сашка выплеснул помой, и вороны сразу же оставили свои березы. Потом разведчики ушли на передовую, а Сиренко и Дробот задержались – они должны были идти другой дорогой. В нужное время они распугали ворон и тоже ушли.

С наблюдательного пункта артиллеристов Дробот долго следил за немецкой огневой точкой и уже в сумерках одобрительно усмехнулся: все шло по графику. Разведчики продвигались по ходам сообщения точно так же, как и в прошлый раз, только немного осторожней. И все-таки над брустверами мелькнули их каски и оружие. Сосредоточились они в том же месте, в нужное время и так, как следовало: над одной из землянок вскоре после их прихода закурился несмелый дымок и почти сейчас же сник.

Противник видел все это – в этом Дробот был уверен, потому что и на его стороне появились мелкие и мельчайшие приметы необычной деятельности.

Справа, где к минному полю примыкала уже голая березовая рощица, подергивая хвостом, взлетела сорока и, мелькая белыми заплатками крыльев, бросилась было в сторону передовой, но потом повернула и скрылась из поля зрения стереотрубы, в которую смотрел Дробот. Прямо перед засевающим в землянке взводом из немецкой траншеи неожиданно вылетел окуроч: его мог бросить не под ноги только тот, кто долгое время жил в относительном тыловом уюте и привык не сорить на пол.

Однако слева от намеченной полосы поиска все еще было тихо. И эта тишина смущала Дробота.

Впрочем, он подавил это смущение – решение было принято, и отступление – невозможно.

Прежде чем перевалить бруствер, они долго стояли и слушали. На немецкой стороне шла обычная жизнь – иногда слышался приглушенный смех или отрывистые неразборчивые слова команды. Иногда звенел металл и хлопали двери. Слух привыкал к обычным звукам, и они постепенно становились фоном, на котором все явственней выступали другие приметы. Легкий порыв ветра донес слитный, неясный шумок, причудливо переплетающийся с глухим постукиванием и легким звоном. Дробот подтолкнул Сашку и шепнул:

– По траншеям движется... до взвода. – И, помолчав, уточнил: – Готовятся к встрече.

И хотя за последние дни передовая стала уже привычной и как будто нестрашной, Сашка явственно ощутил, как по спине пробежала волна холода и мурашками проползла на затылок. Мозг что-то сжало, и во рту разом пересохло. Сашка понял – это страх. Он тихонько выругался и попытался было подавить страх, но этого не получилось. Мозг твердил одно и то же: там, впереди, готовы встретить тебя и убить. Там, впереди, – твоя смерть, на которую ты идешь из собственного упрямства.

В какое-то мгновение Сашка ощутил отчаяние – он не мог справиться со страхом. Осталось последнее оружие, что держалось про запас, на самый крайний случай: он заставил себя подумать о самом себе, так, словно думал о ком-то другом: «Ты ж комсомолец, трус несчастный! Ты ж доброволец!» И странно, то, что, выдавливая страх, сжимало мозг, словно ослабило хватку, и внутренний голос уже не так уверенно, как прежде, сказал: «Ну что ж, что комсомолец? А разве комсомолцы не умирают?»

И Сашка уже решительней возразил: «Умирают – да, но не сдаются. И не поворачивают назад».

Он сказал это мысленно, сказал горячо, и удивительно – именно эти слова постепенно изгнали страх, возвратили Сашке внутреннее равновесие. Теперь он снова видел окружающее, обостренным слухом слышал слитный, неясный шумок и понимал, что это идут немцы, чтобы встретить его, Александра Сиренко, смертью. Он не знал этих немцев, но, злясь на свою мгновенную трусость, на себя, он уже ненавидел их тяжелой ненавистью. И чтобы дать ей выход, он мысленно твердил: «Да, комсомолец, да, доброволец. А комсомолцы-добровольцы назад не поворачивают. И если нужно – умирают, но не сдаются».

И те слова, которые он в обычное время не любил произносить вслух – так они были высоки, – теперь, перед последними шагами навстречу смерти, были ему как раз впору: он дорос до них. Они стали его словами и его сущностью.

Он не успел оформить все это в четкие понятия, потому что услышал шепот сержанта. Стоя слева от Дробота, Сашка повернулся к нему боком и увидел далеко вправо, в той самой роще, из которой вылетела сорока, еле заметную красную точку. Она качнулась и исчезла. Сиренко сжал руку Дробота и шепотом доложил об этой точке.

– Точно видел? – серьезно спросил сержант.

– Точно. Показалась и исчезла.

Дробот задумался, что-то прикидывая в уме, поднял голову и долго смотрел на последнюю, цвета жидкого пива, полоску вечерней зари.

– Рановато, но...

– Что «но»? – с задиристой требовательностью спросил Сашка.

Теперь, когда он победил свой первый страх перед немцами, сержант тоже был ему не страшен. Он как бы перестал быть командиром. Он был теперь такой же, как Сашка. Может быть, даже чуть хуже – ведь Сашка подавил страх и не боялся врага, а сделал ли это Дробот – еще неизвестно.

Эта задиристость – возбужденная и не очень оправданная – не удивила Дробота. Он знал, что так бывает часто: вначале страх, потом бесшабашность, задиристость. А настоящее солдатское мужество, военная мудрость придут позже. И он не подал виду, что понял Сашку. Он доверительно и даже с нотками покорности в приглушенном голосе объяснил:

– На таком расстоянии папираса не видна. Выходит, фонарик. И раз красный – значит, сигнальный. Стоит солдат-маяк, его выставили засветло, и встречает свое подразделение, чтобы оно не сбилось с пути: там у них минные поля. Что это за подразделение? То самое, которое должно стать в засаду справа. Почему рановато? А потому, что в прошлый раз они чуть не опоздали – наши подошли уже к проволоке. Теперь их начальник исправляет ошибку и высылает засаду загодя. Кроме того, их начальник считает, что наш начальник, обжегшись первый раз, теперь изменит время начала поиска, вот и выдвигает свою засаду пораньше, ага...

Сашка слушал ровный сержантский говор и, по мере того как перед ним возникала, а потом прояснялась картина происходящего на той стороне, которую видел Дробот и видел так ясно, что мог объяснить не только ее замысел, но даже детали, – все больше удивлялся.

Все было правильно, все логично и законченно. Сашка видел и немецкого начальника, и солдата в пятнистой плащ-накидке, который сидел, должно быть, в кустах и ждал, когда появится его подразделение. Ждал и, наверное, трусил. А когда вдаль послышался слитный неясный шумок – совсем такой, какой слышал сейчас Сашка, – наверное, испугался так же, как и Сашка, и, не прикрыв второпях плащ-палаткой фонарик, поспешил просигналить. А командир того, немецкого, подразделения, должно быть, заметил этот непорядок и теперь, наверное, шипит на солдата, а тот, и так напуганный предстоящим боем, трусит еще больше.

И вдруг пропали бесшабашность и задиристость. Осталось удивленное восхищение сержантом, признательность и веселая насмешливость по отношению не только к тому перепуганному фрицу, а вообще к немцам. И Сашка счастливо улыбнулся.

– Верно, – выдохнул он, доверительно наклонясь к сержанту, – верно.

Дробот уловил смену Сашкиного настроения, выпрямился и жестко сказал:

– Верно-то верно, товарищ Сиренко, а вот на нашем направлении тишина. Это меня волнует.

– В штаны наложили, должно быть, вот и молчат, – усмехнулся Сашка.

– Нет, дорогой мой повар. Они не наложат. Они вояки справные, ага. Это они нас ловят. Персонально нас с тобой. И нам теперь нужно носом водить вдвое быстрее. А то не вернемся.

Сашка еще не понимал – шутит сержант или говорит серьезно, пугает или предупреждает.

Но Дробот не дал ему времени на раздумье. Он подошел к пулеметчикам, что стояли во врезной ячейке на открытой, запасной позиции, и шепнул:

– Ну, мы пошли.

Пожилый небритый пулеметчик торопливо ответил:

– С богом.

Сашка не понимал, что происходит, – он все еще разжевывал сержантские слова, – но Дробот подтолкнул его и, легко выпрыгнув за бруствер, коротко бросил:

– Пошли.

Подбежавший наблюдатель и сержант из пехоты помогли Сашке, и он, подталкиваемый четырьмя заботливыми руками, тяжело плюхнулся на мокрый бруствер, ткнулся лицом в жесткую траву и почти сейчас же услышал, что на немецкой стороне заработали пулеметы.

Все в нем обмерло и заостенело. Двинуться с места он не мог.

Лейтенант Андрианов смотрел в ночную темноту и кончиком языка перекладывал потухшую сигарку из одного уголка рта в другой. Это бесцельное перекладывание успокаивало его – курить он не мог, а терпкая горечь махорки, пресный вкус газетной бумаги были привычны. Лейтенанту нужно было успокоиться.

План поиска ему нравился. И все-таки смущало то, что о нем знали многие. Андрианов был убежден, что истинный план, замысел любого боя должен был знать только один командир. Тогда он будет сохранен в полной тайне.

Что получалось сейчас?

Петровский командовал правой группой обеспечения и знал, что обеспечивать ему, в сущности, нечего – захватывающая группа во главе с лейтенантом ничего захватывать не должна. Пленного должен был взять Дробот. Капитан Мокряков, который обеспечивал поддержку пехоты и артиллерии, тоже исходил из этого плана и потому нацеливал артиллеристов на обманный объект поиска – тот самый, который уже никто никогда не будет атаковать. И сам он, двигаясь с группой захвата, которая, в сущности, превращалась в главную группу отвлечения, тоже мог надеяться только на Дробота. Сумеют ли люди понять, что они рискуют собой не для Дробота, а для общего дела? Всякий план хорош на бумаге, а когда начинается бой – многое меняется. Уловят люди эти изменения? Сумеют сделать из них выводы?

Андрианов все перекатывал и перекатывал погасший окурок и не мог ответить ни на один вопрос.

Морозило. Воздух очищался и позванивал. Далеко влево взлетела первая яркая ракета. Андрианов долго следил за ее полетом и вдруг понял, что думает он о Дроботе. Да, у него ордена. Да, он и в самом деле опытный разведчик – не только на словах: лейтенант наблюдал за его действиями на переднем крае. Да, он комсомолец и, кроме того, – доброволец. Все верно. Все правильно. И все-таки... Все-таки лейтенант еще не знал Дробота. И сейчас, перед решительными действиями, ему уже не нравилось, что сержант взял на себя самое главное, самое ответственное – захват «языка». Он – человек новый, неизвестный, а получалось так, что именно он своими действиями отвечал за весь взвод. Тот взвод, который Дроботу был еще ничем, просто очередным местом службы, а для Андрианова – делом его чести, его жизни, его семьей.

Справа мигнула красная точка и скрылась. Потом донесся легкий шумок и смолк. Лейтенант насторожился и вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он резко обернулся и узнал Прокофьева. Разведчик наклонился и шепнул:

– Рановато они подбираются... Неужели опять заметили?

Лейтенант не мог объяснить ему, что радуется тому, что противник заметил их, и тому, что они действуют точно так же, как и в прошлый раз. Ни Прокофьев, ни другие разведчики об этом знать не должны. Поэтому Андрианов нахмурился и хотел сразу же отослать Прокофьева в землянку, но тот опередил командира.

– Все как в прошлый раз... – озабоченно вздохнул и подкинул: – А новеньких разведчиков в самое легкое место пустили... Как бы оно самым трудным не оказалось. Может, мне там приглядеть, товарищ лейтенант?

Прокофьев нанес удар по самому больному месту, и лейтенант, несмотря на явную жертвенность разведчика, вскипел:

– Я приказал не выходить из землянок. Марш на место!

Прокофьев, покорно наклонив голову, скрылся в темноте. Последние дни перед поиском он жил легко, свято веря в свою исключительность и неуязвимость. Но здесь, в напряженной темноте передовой, как и раньше, он опять раздвоился. Былой веры в свою удачу не осталось: был страх. Прокофьев понимал, что идет в бой вместе со взводом и, значит, подвергается той же опасности, что и все. Эта общая опасность заставляла его думать о взводе, о его делах, и он искренне высказал лейтенанту свои сомнения.

Но была и вторая половинка его существа – стремление выполнить немецкое задание. И он боялся, не помешает ли ему взвод. Эта новая раздвоенность развилась, окрепла, и, ощущая ее, Прокофьев не возмущался, не удивлялся. Он деловито думал, как сделать, чтобы вывернуться, уйти от опасности. И решил пойти проторенным путем – двинуться на знакомый левый фланг. А лейтенант пресек его попытку.

Будь Прокофьев честным человеком, эта несправедливость оскорбила бы его, и он как-нибудь проявил это чувство. И лейтенант наверняка заметил бы. Но Прокофьев в душе знал, для чего ему нужно было уйти на левый фланг, и потому был просто покорен.

Лейтенант уловил эту странную покорность, проводил взглядом бойца и сплюнул очертеневший окурок, привычно подумав, что Дробот, как нарочно, взял себе в напарники неопытного разведчика.

Ну и что ж, что он его специально тренировал, и надо сказать, очень умело. Бой – не тренировка. В бою, в самый ответственный момент, с каждым может случиться такой шок, что никакой медик не разберет: свалится человек, как бревно, или сам себя забудет... Может, и в самом деле следовало бы усилить его группу Прокофьевым – ведь сам человек просится.

Но что-то остановило лейтенанта – может быть, излишняя покорность бойца, а может быть, и то, что, в сущности, он принял второе, запасное решение: самому прорваться к траншеям и взять «языка». Возвратиться опять с пустыми руками невозможно. Андрианов понимал, что согласовывать это свое новое решение с капитаном Мокряковым уже нет времени, и потому отчаянно махнул рукой: буду действовать на свой страх и риск.

Вскоре взвод начал выдвижение.

Дробот вернулся к траншее, толкнул одеревеневшего Сиренко в плечо и неожиданно ласково шепнул:

– Ты что, Сашок, ушибся?

Шепот сержанта криком отозвался в контуженном страхом Сашкином мозгу. Сиренко встрепенулся и посмотрел в близкое, смазанное темнотой и тенью от каски лицо Дробота. Показалось, что он видит презрительно суженные, светлые глаза, насмешливую улыбку. И ему представились обидные часы тренировок. Это подстегнуло нервы и поставило все на свои

места: перед ним был командир, который никогда, нигде и ни в каких случаях ничего не прощает. И Сашка, все еще замирая от страха, все-таки покорился. Еще бездумно он торопливо пополз за сержантом.

Дробот несколько раз останавливался и озабоченно заглядывал в лицо напарника: он боялся, что Сашка спасует и тогда сорвется поиск. Но он не знал, что каждый его взгляд подхлестывал Сиренко, вышибал из него проклятый страх, на место которого приходили другие, однажды уже испытанные и потому как бы привычные чувства: уверенность в командире, в себе, презрение к противнику. Чувства эти постепенно переплавлялись в убеждение, что все будет хорошо.

Однако страх еще жил. Он еще сидел в мозгу, хотя уже не был хозяином. Его можно было потеснить и в конце концов загнать в самые дальние уголки. Поэтому, когда Дробот внезапно остановился, Сашка даже обиделся: неужели не верит? Довольно этих проверок!

Дробот поманил его, и Сашка подполз. Они лежали голова к голове, и Дробот показал куда-то вправо и вперед. Сашка, как ему казалось, очень долго вглядывался в пепельную темноту и только случайно, чтобы дать глазам отдохнуть, перевел взгляд на небо, на то самое место, где совсем недавно желтела, как пролитое жидкое пиво, полоска зари. Теперь небо там было почти такое же низкое и темное, как и над Сашкой, и все-таки где-то за ним еще брезжил рассеянный облаками свет.

На фоне этого более светлого, чем окружающее, неба Сиренко увидел торчащую из земли палку. Но уже в следующее мгновение он понял, что палка не торчит, а как бы висит над землей – черная, зловещая в своей прямоте и законченности. Пошарив взглядом по призрачно-светлому фону, он увидел еще одну такую же, но словно бы повернутую в другую сторону законченную палку. И тут только он понял, что впереди и вправо от него торчат изготовившиеся к бою немецкие пулеметы.

Первым, о ком подумал Сашка, был Дробот. Он опять оказался прав – немцы были как раз там, где он их ждал. Значит, предстояли немедленные действия: незаметно подобраться к ним, навалиться и по возможности бесшумно лишним придавить, а одного, самого нужного, обезопасить кляпом и притащить в свою траншею. Сашка отрабатывал эту операцию десятки раз и был уверен, что немец будет не таким хитрым и изворотливым, как сержант, брать которого в плен было очень трудно.

Сознание надвигающейся решительной опасности, не случайной, а заранее предсказанной, не только не испугало Сиренко, а, наоборот, как бы окончательно затолкало все еще трепетавший страх в самый потаенный уголок. Сашка подобрался, напрягся, ощущая, как в нем растет и растет захватывающий и обжигающий боевой азарт. Он чем-то напоминал то чувство, что рождалось на занятиях, когда ему удавалось схватить сержанта и прижать так, что Дробот сдержанно охал и серел: у него все еще побаливали раны.

«Ну, этого паразита, – с сердитой радостью подумал Сашка, – мне жалеть будет не к чему».

Он хотел было двинуться вперед, но сник прежде, чем Дробот знаком остановил его, и подумал, что пулеметы стоят что то слишком уж близко от лощины. Сержант толкнул его и знаком показал, чтобы он полз влево. Сашка поначалу опешил – «языка» можно взять справа, а Дробот полез влево. Но он ясно помнил инструктаж Дробота – во всем слушаться беспрекословно и только, если его, сержанта, убьют, тогда действовать сообразно с обстановкой. И Сашка пополз влево.

Из лощины они поднялись на ровное поле и увидели кустарник. Сиренко отлично помнил этот ориентир – было высказано предположение, что именно здесь противник может расположить исходные позиции своей засады. В кустах и в самом деле что-то шебуршилось – сдержанно и настороженно, хотя засада с пулеметами была на месте. Сержант круто повернул и двинулся прямо к немецким траншеям, обходя кустарник с тыла.

Разведчики ползли дальше и дальше, и Сашка все отчетливее понимал, что план поиска уже нарушен, и на место исчезающего боевого азарта в него вползали сомнения. Зачем они забираются так далеко? Почему не действуют остальные разведчики? Почему вокруг такое молчание, особенно там, куда должны ударить остальные?

Вопросы все напирали и напирали на Сашку, и, наконец, пришел самый важный вопрос: а вдруг этот непонятный, словно прокопченный сержант потянет его прямо к немцам в лапы?

На Сашку нахлынул новый прилив страха. Это был уже не страх за собственную жизнь. «Погибнуть – не штука, – подумал Сиренко, – а вот попасться немцам...» Впрочем, и это было не самым страшным – было нечто другое, более ужасное и важное: ненависть к предательству, которое страшнее страха, был взрыв возмущения, было еще многое, что и в сумме и каждое в отдельности оказывалось все же деятельней и сильнее, чем страх и перед немцами и за свою жизнь.

Сашка остановился и подтянул автомат. Зачем он это сделал, он не знал: может быть, для того, чтобы заставить Дробота выполнить задачу. Но сержант словно имел глаза на затылке да вдобавок еще знал, о чем думает Сашка. Он тоже остановился и жестом подозвал к себе Сиренко. Они долго лежали и слушали тишину. Нервы у них были напряжены до предела, и потому постепенно тишина стала прорастать звуками.

Траншеи противника были неподалеку. Из них слышалось покашливание, шорох шагов, чирканье зажигалок, приглушенный звон и шарканье оружия о слегка подмерзшие стены. И они поняли, что немцев в траншеях много. Но самое неприятное было в том, что и справа от них – из кустарника и откуда-то еще дальше – тоже доносились сдерживаемые звуки чужой и враждебной жизни. И оба поняли, что они находятся сейчас в окружении. Они сами заползли в это окружение и теперь слышали шорохи и, кажется, даже дыхание тех, кто их окружил.

И тут только до Сашки дошло все значение тех пулеметов, которые он увидел. Противник разгадал замысел. Он приготовился встретить их совсем не так, как надеялся Дробот. Он оказался хитрее и мощнее. Дробот словно подслушал эти вполне самостоятельные солдатские мысли своего подчиненного, впервые в жизни разобравшегося в сложившейся обстановке. Он наклонился к Сашке и, придерживая ладонью каску, чтобы ненароком не царапнуть ею о сиренковскую, зашептал:

– Видал проход в ихних проволочных заграждениях? Оттуда они обязательно пройдут здесь – для большой засады их мало: слышал, сколько их в траншеях набито, ага. Значит, здесь и возьмем «языка». Ты поползешь назад, той же дорогой, а я останусь прикрывать. – Сержант вздохнул и добавил: – Не то они наших могут отрезать. – Он промолчал и совсем ласково шепнул: – Переплет, Сашок, правильный. Только ты не дрейфь – главное, доставь «языка», а я, может, выкручусь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.